

Владимир
Набоков



CoRpus

Истинная жизнь
Севастьяна Найта

Набоковский корпус

Владимир Набоков

Истинная жизнь Севастьяна Найта

«Издательство АСТ»

1941

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Набоков В. В.

Истинная жизнь Севастьяна Найта / В. В. Набоков —
«Издательство АСТ», 1941 — (Набоковский корпус)

ISBN 978-5-17-145126-4

«Истинная жизнь Севастьяна Найта» – первый англоязычный роман Владимира Набокова, оконченный в 1939 году в Париже и два года спустя опубликованный в США. Его лабиринтообразная структура и квазидетективный сюжет предопределили своеобразие последующей прозы Набокова – «Лолиты», «Бледного огня», «Ады» и особенно его последней завершенной книги «Взгляни на арлекинов!». Повествователь, означенный лишь инициалом В., восстанавливает историю жизни собственного сводного брата, покойного писателя Севастьяна Найта (Sebastian Knight), используя воспоминания, устные рассказы и отрывки из его книг. Ускользающая от настойчивых поисков В., истинная жизнь Найта оказывается непосредственно связанной с тайной его имени, с его сочинениями, с законами словесного искусства и с метафизикой Набокова. Настоящее издание романа сопровождается предисловием, примечаниями и заключительным очерком переводчика. Сохранены особенности орфографии, пунктуации и транслитерации переводчика. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-145126-4

© Набоков В. В., 1941
© Издательство АСТ, 1941

Содержание

Вместо предисловия	7
Предисловие переводчика	9
Истинная жизнь Севастьяна Найта	14
Первая глава	14
Вторая глава	19
Третья глава	23
Четвертая глава	27
Пятая глава	32
Шестая глава	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Владимир Владимирович Набоков

Истинная жизнь Севастьяна Найта

First published in 1941

© 1941, Vladimir Nabokov

All rights reserved

© Russian translation copyright © 2008 by Dmitri Nabokov

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2023

© ООО «Издательство Аст», 2023 Издательство CORPUS ®

Вместо предисловия

20 октября 1941 г.
Вельфлит, Массачусетс

Дорогой Владимир: Только что прочитал «Севастьяна Найта», корректуру которого мне прислал Локлин¹, – и совершенно им очарован. Поразительно, что Вы пишете такую замечательную английскую прозу и в то же время не походите ни на какого другого английского писателя, но делаете все по-своему, да еще так тонко и основательно. Кроме Вас и Конрада нет, наверное, других иностранцев, которые достигли бы такого литературного уровня по-английски. Книга вся сплошь отличная, превосходно сочиненная, но особенно мне понравились главы, где он разыскивает всех этих русских женщин, потом описание книги о смерти, и когда в конце он едет на поезде, как бы во сне (и еще длинный сон повествователя). Мне теперь хочется прочитать и русские Ваши книги, и я попытаюсь их осилить, когда мой *русский язык*² немного окрепнет [...].

Эдмунд Вильсон³
ул. Анпельби, 19

21 октября 1941 г.
Вельзлей, Массачусетс

Дорогой Эдмунд⁴,
Дух Севастьяна отвечает Вам *земной поклон*⁵. Очень рад, что Вам понравилась эта книжица. Кажется, я говорил Вам, что написал ее пять лет тому назад⁶ в Париже, где письменным столом мне служило приспособление, именуемое *bidet*⁷, – потому что мы жили в одной комнате и мне приходилось превращать нашу маленькую ванную в рабочий кабинет [...].

Ваш В. Набоков

¹ James Laughlin, владелец издательства «Новые направления», с которым Набокова познакомил Вильсон и который издал первые его американские книги: этот роман, «Николай Гоголь» (1944), «Три русских поэта: Пушкин, Лермонтов, Тютчев» (1944) и «Девять рассказов» (1947).

² Эти слова написаны по-русски (в советском правописании).

³ Эдмунд Вильсон (1895–1972) был один из самых известных и влиятельных американских критиков середины двадцатого века. Очень скоро по переезде Набокова с семьей из Европы в Америку в 1940 году Вильсон познакомил его с издателями и ввел в литературное общество. Они были дружны, хотя с годами их отношения все охлаждались и усложнялись, и наконец они рассорились в середине 1960-х годов из-за печатной полемики вокруг издания Набоковым «Евгения Онегина» в своем переводе и с комментариями. Их переписка опубликована, с небольшими изъятиями, проф. С. Карлинским в 1979 году.

⁴ У Вильсона было прозвище Вуппу, которым пользовались все его друзья, в том числе и Набоков. Слово это значит «зайка» или «зайчик» и в русском употреблении звучит совсем не так, как по-английски (как и многие вообще ласкательные прозвания), поэтому я отказался от него в этом случае. У Набоковых в семье, по словам его сына, Вильсона в третьем лице упоминали или по фамилии, или по имени (в обоих случаях с ударением на последнем слоге).

⁵ Эти слова написаны по-русски (по русскому правописанию).

⁶ Одна из нескольких интересных оговорок Набокова этого рода: книга была написана не пятью, а только неполными тремя годами раньше (и очень быстро – всего за полтора месяца).

⁷ Гигиенический трон в романской, главным образом, Европе.

[Дописываю] после Вашего телефона. Нет – за вычетом мимолетного упоминания шахматной игры в одной главе, *в развитии всей книги нет никакой «шахматной идеи»*⁸.

Звучит заманчиво, но чего нет, того нет.

[Окончание рекламного предуведомления Вильсона на обложке второго издания романа:]

«Внимательного читателя ждет [...] особенного рода сюрприз, раскрыть который было бы нечестно по отношению к автору».

⁸ Слова в кавычках написаны курсивом в подлиннике – вероятно, это слова Вильсона, сказанные по телефону.

Предисловие переводчика

«Иногда я говорю себе, что ее не так уж трудно было бы перевести на русский язык», – пишет В. о последней книге Севастьяна Найта, в которой сведены все предыдущие его книги и в которой содержится загадочная разгадка секрета всего романа, всей «истинной жизни».

Около двадцати лет тому назад вдова Набокова попросила меня взяться за перевод «Ады» на русский язык. Я колебался: дело это казалось мне безпримерно трудным. Однако по размышлении я предложил некоторые необычные меры, например оставить в этой трехязычной книге некоторую часть неудобопереводимого английского текста непЕРЕВЕДЕННОЙ – подобно тому как в оригинале оставлены без перевода многие русские *jeux d'esprit* и *des mots*, и послал на ее усмотрение две или три главки из середины книги. Она нашла, что перевод мой неудачен, и решила отказаться от самой мысли переводить «Аду» на русский язык. В отношении моей пробной попытки она была права, там было много неловкой акробатики, которую можно было принять за своевольную отсебятину. Но вскоре после этого я начал переводить «Севастьяна Найта», не помню теперь, по ее предложению или по моему, пытаюсь держаться, как это было при переводе «Пнина», принципа дословной верности подлиннику, но в то же время пользуясь возможностями доступного мне языка гораздо свободнее, чем я это себе там позволил. Мне казалось, что ради верного воспроизведения оттенка смысла и слога в дело годны едва ли не любые подручные средства: так тень собаки на освещенной стене может быть изображена хитросплетением пальцев. И вот я старался переводить «инде слово в слово, инде же умышление во умышление», как сказал король Альфред. И так как на русский язык переводилось английское сочинение русского писателя, мне хотелось выветрить сколько возможно запах операционной, которым почти всегда отдает перевод.

Первая глава была кончена вчерне в 1988 году, но вмешались другие занятия, работа прервалась и по смерти Веры Набоковой не возобновлялась. Тем временем в 1990-е годы в Москве стали вкривь и вкось издавать сочинения Набокова, в том числе два или три переложения этой книги⁹. Я же, напротив, совсем оставил переводы и обратился к другим занятиям. Но два года тому назад, когда затеялась новая серия изданий Набокова по-русски в «Азбуке» и его сын предложил мне перевести эту книгу заново, я перечитал это старое свое упражнение и остался им скорее доволен¹⁰.

То был первый роман, сочиненный Набоковым по-английски – в декабре 1938-го и январе 1939 года в Париже, в ванной маленькой квартирке на рю де Сайгон, которую он занимал с женой и четырехлетним сыном. Он не был уверен в естественности и даже в правильности своего литературного английского языка и поэтому просил проверить манускрипт Люси Леон Ноель, жену Поля Леона, приятеля Джойса (Набоков не мог, конечно, не обратить внимания на то, что ее девичья и замужняя фамилии образуют палиндром, один из его любимых видов криптографии). Этот манускрипт с ее и своими поправками он взял с собой в Америку, где по нему еще раз прошла одна американская профессорша, после чего книга вышла 18 декабря 1941 года с интересным напутствием Эдмунда Вильсона¹¹. Ее тогда почти не заметили, и не только оттого, что Америка как раз в те дни вступила в мировую войну. Впрочем, уже через

⁹ Как и в случае с недавно напечатанным новым изданием «Пнина» в моем переделанном переводе («Азбука», 2007), я должен тут особенно отметить, что этих переводов «Найта» не читал, как, впрочем, и вообще не читал никаких переводов книг Набокова – переводы ведь не для переводчиков делаются, – и по этой причине всякие возможные дословные совпадения в моем тексте с предшествующими совершенно случайны.

¹⁰ Приношу искреннюю благодарность Андрею Александровичу Бабинову, поэту и знатоку Набокова, который указал мне на множество важных промахов в рукописи перевода и любезно предложил способы их исправить.

¹¹ Роман вышел в свет 6 декабря 1941 г. в издательстве «New Directions»; отзыв Э. Уилсона появился во втором издании 1945 г. (Прим. ред.)

три недели по выходе книги (и почти день в день через шесть лет по смерти Севастьяна Найта) появилась холодная и плоская рецензия того именно стилистического рода, который невольно наводит на мысль, что ее мог бы сочинить для пародии сам Найт. Впрочем, заканчивается она симпатичным для будущего переводчика предположением: «Быть может, эта книга звучала бы интереснее на другом каком-нибудь языке»¹².

В плохо сохранившейся рукописи недостает восьми глав из двадцати. Тем не менее сличение имеющейся рукописи с печатным текстом выявило довольно большое количество важных погрешностей во всех предыдущих изданиях. Несомненные ошибки, как, например, выпущенное или неверно прочтенное при наборе слово, в переводе исправлены и оговорены в примечании; там же упоминаются и другие важнейшие разночтения, а некоторые интересные ранние варианты приводятся в приложении к моему объяснительному очерку в конце этого издания.

Так сошлись обстоятельства, что я переводил третью главу (побег в Гельсингфорс) в Гельсингфорсе. 24 октября 2005 года я, по своему обыкновению, рано вышел из дому (я поселился в университетской квартире около старого русского военного манежа) и отправился в библиотеку, в версте ходу по прямоколенному маршруту: налево по б. Константиновской, направо по Эстляндской, налево по б. Николаевской, направо по Мирной, налево по Унионской (как ее здесь зовут старые жители), мимо старого русского Троицкого храма, наискосок от которого расположены здания б. Императорского Александровского университета с его знаменитой русской библиотекой. Тут за углом, за оградой во внутреннем дворике, можно увидеть перенесенный сюда с глаз долой массивный медный бюст императора – основателя университета, а в ста шагах, посередине Сенатской площади, на огромном фигурном постаменте стоит его царственный племянник, глядящий поверх сенатских зданий на Финский залив в сторону б. России, в недоумении слегка разводя руками, и это выражение недоумения («Ну, знаете...») еще усиливается оттого, что ему на голову то и дело садятся наглые чайки, которых туристы любят фотографировать именно на этом неуместном насесте. По всему городу за ночь развесили огромные, зыблющиеся под легким небельвиндом флаги: синий Андреевский крест на белом фоне, с гербом на перекрестке. Должно быть, большой праздник, думал я, ежась от утреннего холода. Библиотеку еще не отпирали, и я ждал на ступеньках лютеранского кафедрального собора насупротив. Подошла пара: он угрюмого вида, в каракулевой шапке-громышке, она, может быть, его провожатый. Она указала на карниз собора и сказала по-русски: «А вон видите там, с ключом, это св. Петр... раз с ключом, то, значит, св. Петр». Тот посмотрел мельком. В славянской библиотеке было пусто, как обычно по утрам, только один, тоже сумрачный, гость уткнулся в последний номер «Красной Звезды». Спрашиваю милую заведующую библиотекой, из русских, – какой это праздник? Не знает, сама хотела бы узнать. Потом около полудня пошел прогуляться и купить зонтик взамен моего, у которого хлесткий финский дождь с напористым морским ветром за день перед тем выбил ребро. Навстречу пожилая финка катит велосипед наизволок и, поравнявшись, что-то мне говорит. По-английски говорю, что не знаю по-фински. Она улыбнулась и уже по-английски спрашивает *меня*: по какому случаю флаги? Это становилось занятно. Вечером знамена поснимали. У моего дома молодой рабочий как раз спускал одно такое на тросике. Тот же вопрос. Он замялся: «да что-то такое...» Забавная рябь по течению дня сделалась вдруг маленькой завертью: был ли день этот годовщиной замены финской марки общеевропейской ассигнацией, или открытием древнечудской ежегодной ярмарки салаки, или, может быть, в предпоследний понедельник октября полагается проветривать все государственные флаги в наличии? И это несколько литературное происшествие показалось мне пригодной аналогией: загадочные знамена, о которых знаешь

¹² P.M. Jack in «New York Times Book Review» (1942, 11 January).

наверное, что они не зря развешаны и нечто значат, но для того, чтобы узнать, что именно, нужно потрудиться поиском.

У Набокова указательные знаки могут иметь вид безмолвных стрелок, вроде тех, что были мелом начерчены на стенах и воротах старых московских домов и не стирались, казалось, десятилетиями – с тех еще времен, когда казаков было не меньше, чем разбойников. Направление указано (откуда и куда ветер дует), но постороннему неизвестно, что, собственно, искать, неизвестна ценность искомого, неизвестен и самый смысл розысков. Чтение любой книги Набокова можно уподобить экспедиции с восхитительными приключениями по пути к изумительному месту назначения. Но требуются определенные навыки, и знания, и внимание. В важных местах повешены указательные знаки, тонкие и явные, – надломанные веточки, стреловидные предметы, ариаднины паутинные нити, которые следопыт вдруг задевает лбом, флажки и даже нарисованные указующие персты, – но больше всего внимательному читателю помогает опытом приуроченное чутье, потому что при всем разнообразии искусства главные черты плана у зрелого Набокова повторяются из книги в книгу. И если, пройдя ее несколько раз из конца в конец (с каждым разом открывая новые клады), наученный опытом читатель станет на возвышенное место и охватит взором все ее пространство, со всеми ее наземными и подземными переходами, то узнает в ней новое изложение все той же философической системы, испытанной этим очередным художественным экспериментом и основанной на той предпосылке, что жизнь подчиняется некоторому осмысленному и правильному рисунку, смысл и правила которого открываются за ее пределом. В отношении к существованию героев книги читатель именно находится за этим пределом; в отношении же к существованию самого читателя (и сочинителя) – но здесь остановимся: этому предисловию тоже положен предел.

Оно никак не предназначено лишить кладоискателя острейшего удовольствия самостоятельных открытий при повторных экспедициях; ведь бывалый читатель знает, что даже самые трудные задачи Набокова имеют решение, на каждом уровне единственное. Но на одной загадке романа все-таки необходимо задержать внимание, потому что если в английском подлиннике она очень трудна, то в переводе на русский оказывается неразрешимой. Речь идет о загадке названия.

Если выпустить массу подсобного материала (который можно найти в моем длинном истолковательном послесловии), дело сводится вот к чему. Книга под названием «The Real Life of Sebastian Knight» была необычайно быстро, за полтора или два месяца, написана в Париже и послана в конце января 1939 года на литературный конкурс в Англию, за день до срока, возможно под девизом или придуманным именем. В этом названии содержится ключ к образу и внутреннему значению повествования. Сводный брат героя как будто пишет его «истинную» (а не вымышленную по низким побуждениям) биографию; однако, доведя ее до конца, прежде чем поставить точку, он ставит под сомнение самое существование своего героя и, быть может, и свое собственное. Но как это часто бывает в книгах Набокова, выход из лабиринта приводит к входу – правда, этажом выше. Вход находится под названием, т. е. под именем героя повествования (которое потом появляется в первом или в последнем предложении в четырнадцати из двадцати глав романа, и, главное, в его начале и в конце). Имя же это нарочито, потому что в России, где 18/31 декабря 1899 года он родился (на мученика Севастьяна), в семьях того круга и сословия, которым принадлежала семья повествователя и его единокровного брата (образованное дворянство), это имя в то время почти не встречается. Если бы по какой-то причине его выбрала англичанка мать, то причина эта была бы, конечно, помянута именно по указанной крайней редкости этого имени в русской благородной среде того времени. Набоков при желании мог бы, разумеется, выбрать любое из множества христианских имен в обычном употреблении в обоих языках, как то: Михаил, Андрей, Виктор и т. д. Однако ему нужен был именно Севастьян. Отчего? Что означает эта нарочитость? Но по-английски это имя – важная

анаграмма и вместе *тамга*, тайное начертание, рукоприкладный знак мастера (по выражению Даля). *Sebastian Knight* = *Knight is absent*, т. е. Найт отсутствует, его нет¹³.

Эта-то «тайна Найта» и была, я полагаю, таможенным клеймом Набокова в книге, где полно и других криптограмм, иные из которых поясняются в примечаниях. «*Признаюсь, хорошо зашифрована ночь, но под звезды я буквы подставил*»¹⁴. Как это понимать и что из этого следует, оставляю решать читателю; он, впрочем, может познакомиться с моим ни для кого не обязательным истолкованием, следующим за текстом романа. Здесь же скажу только, что в последней своей книге «Смотри – арлекины!», тоже как будто написанной в первом лице (да не в первой руке), есть такой диегетический стишок: *The «I» of the book cannot die in the book*, что приблизительно значит, что «в сказании от первого лица рассказчик [хочешь не хочешь] доживает до конца». А в «Отчаянии» (1934), где Герман все время бормочет себе под нос, что «*на свете счастья нет, но есть покой и проч.*», его будто бы двойника зовут *Феликс*, и, таким образом, в некотором смысле никакого двойника на свете нет, и книга переходит в другое измерение. Нечто подобное, возможно, происходит и в нашем романе. Свое рекламное предуведомление на обложке первого издания Вильсон (с которым Набоков был в то время коротко дружен) заканчивает странной фразой: «Внимательного читателя ждет [...] особенного рода сюрприз, раскрыть который было бы нечестно по отношению к автору». И вот я полагаю, что сюрприз ждет читателя в самом имени героя всамделишного жизнеописания, героя, которого там на самом деле может быть и нет.

Кстати сказать, в самом этом имени содержится для переводчика книги на родной язык Севастьяна специфическая трудность. Как известно, греческая «бета» по крайней мере с ранневизантийских времен произносится греками, а за ними вслед и славянами, как «вита» (базилика – Василий, Барбара – Варвара и т. д.). Поэтому было бы и странно, и неправильно передавать буквально английское написание «Севастьян» именно в русском переводе (отчего бы тогда уж и не «Себастиан»): и оттого, что его ведь крестили Севастьяном; и оттого, что повествователь настойчиво подчеркивает непобедимое преобладание в своем брате русского начала; и оттого, наконец, что в этом имени таится (как я показываю здесь и подробнее в послесловии) зашифрованный ключ к решению одной из важнейших загадок книги, и только в русском написании, воспроизводящем инициал, под которым скрыт повествователь В., сохраняется отдаленная возможность аналогичной расшифровки. Я попытался было оставлять «бету» в тех местах, где С. упоминается нерусскими персонажами, но это привело к двойному путаному учету, и в конце концов я решил перевести английскую условность оригинала («б» без исключения) на русскую («в» везде). Заметьте, что в конце 19-й главы В. обращает внимание на то, что д-р Старов в телеграмме пишет имя Севастьяна по-русски, но конечно латинскими литерами, т. е. через «v». В конце книги, подробно пересказывая сюжет и устройство последнего романа Найта, его биограф В. приводит оттуда две фразы силлогизма: человек умирает; этот человек – книга. Синтезирующего суждения там не дается, ибо человек умер, не успев прошептать своей всеразрешающей тайны (третье лицо всегда умирает, первое – доживает до конца своей повести о нем).

Но к этому времени даже не очень внимательный читатель заметит, что В., собирая материалы для его биографии, сам делается действующим лицом тех самых сочинений Севастьяна Найта, которые он одно за другим пересказывает (так что на миг перестаешь понимать, соседний ли поезд тронулся, твой ли, или сам ты). И когда, идя по горячему еще следу своего героя, повествователь превращается в героя этого последнего вымысла Найта, он сам и синтезирует этот силлогизм, по буквам диктуя в приемном покое больницы английскую фамилию брата: к, н, и, г... – но *Knight* умер и унес свою тайну в могилу, – но может быть, *Knight*'а и не было,

¹³ Правда, остается на руках неиспользованный и неопределенный артикль «a», но и он идет в дело (см. послесловие).

¹⁴ «Слава» (1942).

а в палате лежит какой-то Киган, и эта тайна Найта получает свое неожиданное оформление, если не разрешение, в последнем абзаце, в последнем предложении, даже в самых последних словах книги. Оказывается, пока попавший сюда впервые читатель глазел по сторонам, обоих братьев след простыл.

Геннадий Барабтарло
2/15 февраля 2007 г.

Истинная жизнь Севастьяна Найта

Первая глава

Севастьян Найт родился тридцать первого декабря 1899 года в бывшей столице моего отечества. Одна пожилая русская дама, которая по какой-то неведомой причине просила меня не открывать ее имени, как-то раз в Париже показала мне свой старый дневник. До того были, наверное, бедны событиями те годы, что накапливание ежедневных подробностей – что обычно бывает ненадежным способом самосохранения – сводилось к краткому описанию погоды за прошедший день; и тут любопытно отметить, что частные дневники коронованных особ большей частью бывают посвящены тому же предмету, каким бы невзгодам ни подвергались их владения. Случается, что везет, когда удачу не подстегиваешь, и то, что мне было показано, я сам ни за что бы не нашел, хоть бы нарочно пустился на розыски.

А так могу сообщить, что утро, в которое Севастьян родился, было ясное и безветренное, что было двенадцать градусов мороза (по Реомюру)... Впрочем, это и все, что добрая старушка нашла достойным записи. Собственно, не вижу причины сохранять ее имя в тайне – совершенно ведь невероятно, чтобы она когда-нибудь прочитала эту книгу. Ее звали, и продолжают звать, Ольгой Олеговной Орловой, и было бы жалко утаить эту овалообразную аллитерацию.

Не странствовавшему читателю сухой ее рапорт не передаст скрытой, но угадываемой прелести такого вот зимнего дня в Петербурге: чистая роскошь безоблачного неба, предназначенного не тело согреть, а только радовать зрение; по просторным улицам – блестящие колеи от санных полозьев на твердом насте, с тянущимся посередине изжелта-рыжим следом жирного конского навоза; связка ярких, разноцветных воздушных шаров, которыми торгует разносчик в фартуке; нежный очерк соборного купола, золото которого потускнело от морозной пыли; березы в городских садах, у которых каждая веточка обведена белилами; скрежет и звонки зимнего уличного движения... и, кстати сказать, как странно, рассматривая старую видовую открытку (вроде той, что я поместил у себя на столе, чтобы на время занять младенца памяти), замечать, что русские извозчики поворачивали без всякого порядка, когда, где и как им вздумается, так что вместо прямолинейного, дисциплинированного потока современного транспорта видишь на этой раскрашенной фотографии широченную как во сне улицу, где дрожки бегут во всех направлениях под немыслимо синим небом, краю которого машинально сообщается розовость трафаретного воспоминания.

Мне не удалось раздобыть снимка дома, где родился Севастьян, но я хорошо его помню, потому что и сам там родился шестью годами позже. У нас был общий отец, вторично женившийся вскоре после развода с матерью Севастьяна. Как ни странно, этот второй брак совсем не упомянут в книге Гудмана «Трагедия Севастьяна Найта» (вышедшей в 1936 году; мне еще придется подробнее на ней остановиться), так что для читателей книги Гудмана меня не существует, я какой-то вымышленный родственник, словоохотливый самозванец. Но сам Севастьян в самом автобиографическом своем сочинении («Забытые вещи») уделяет несколько добрых слов моей матушке, – и, полагаю, она их вполне заслужила. Не совсем верно и то, что, как писали британские газеты после смерти Севастьяна, его отец был убит на поединке в 1913 году; на самом деле он явно оправлялся от пулевого ранения в грудь и только через месяц схватил простуду, с которой его недолеченные легкие справиться не могли.

Храбрый воин, добросердечный, остроумный, веселого нрава человек, он в избытке обладал свойством азартной непоседливости, которая по наследству перекочевала в писания Севастьяна. Передают, что этой зимой на литературном завтраке в Южном Кенсингтоне один известный старый критик, которого я всегда уважал за его блестящий ум и эрудицию, заметил,

когда разговор запорхал вокруг безвременной смерти Севастьяна: «Бедный Найт! В сущности, у него было два периода: сначала скучный человек писал на ломаном английском, а потом надломленный человек стал писать скучным слогом». Злая острота, злая тем более, что легко наговаривать на мертвого писателя за спиной его книг. Хочется верить, что воспоминание об этой шутке не доставляет радости шутнику, который обнаружил гораздо больше сдержанности, когда несколько лет тому назад рецензировал книгу Севастьяна Найта.

Тем не менее нельзя не признать, что в некотором отношении жизнь Севастьяна, хотя и далеко не скучная, была лишена колоссальной энергии его литературного стиля. Всякий раз, что я открываю какую-нибудь его книгу, я будто вижу порывисто входящего в комнату отца, с его особенной манерой распахивать настежь двери и немедленно хватать нужную вещь или любимое существо. Мое первое воспоминание о нем неизменно одно, дух захватывающее: я взрываю с пола, не выпуская из руки свисающей половины игрушечного поезда, и моя голова оказывается в опасной близости к хрустальным подвескам люстры. Он со стуком ставил меня наземь так же внезапно, как подхватывал, или как проза Севастьяна внезапно сшибает читателя с ног, роняя его, потрясенного, в веселую бездну следующего сумасшедшего пассажира. К тому же иные из любимых отцовских острот цветут причудливым цветом в таких характерных Найтовых вещах, как «Альбинос в черном» или «Веселая гора», быть может, лучшим из его рассказов, прекрасном и удивительном и всегда напоминающем мне смеющегося во сне ребенка.

Мой отец, тогда молодой кавалергард, познакомился с Виргинией Найт во время отпуска за границей, если не ошибаюсь, в Италии. Их первая встреча была как-то связана с охотой на лисиц в Риме в начале девяностых годов, но не могу сказать, матушка ли моя говорила мне об этом, или я безотчетно припоминаю какой-то тусклый снимок из семейного альбома. Он долго за ней ухаживал. Она была дочь Эдуарда Найта, человека богатого и достойного; больше мне ничего о нем не известно, но, судя по тому, что моя строгая и своенравная бабушка (помню ее веер, митенки, ее холодные белые пальцы) решительно противилась этому браку и, случалось, повторяла весь перечень своих возражений даже тогда, когда отец уже был женат в другой раз, я склонен заключить, что род Найтов (какой бы уж он там ни был) не совсем отвечал требованиям (что бы под этим ни подразумевалось) старой русской знати. Не уверен я и в том, что первый брак отца не противоречил каким-то образом уставу его полка; так или иначе, успех на военном поприще пришел к нему только во время японской войны, то есть уже после того, как жена оставила его.

Я потерял отца еще мальчиком, и только много позднее, в 1922 году, за несколько месяцев до своей последней, предсмертной операции, мать рассказала мне кое-что из того, что, по ее мнению, мне следовало знать. Отец мой не был счастлив в первом браке. То была странная женщина, беспокойное и беспечное существо, – но беспокойство это было другого, не отцовского рода. Он постоянно чего-то добивался и менял предмет своих усилий, только достигнув желаемого. Она же двигалась неуверенно, взбалмошно и непоследовательно, то уклоняясь далеко в сторону от своей цели, то на полпути забывая о ней, как забывают зонтик в таксомоторе. Она по-своему была привязана к отцу – хотя это «по-своему» было весьма своеобразно, мягко говоря, – и когда однажды ей пришлось в голову, что она влюблена в другого (его имени отец так никогда от нее и не узнал), она бросила мужа и ребенка так же внезапно, как дождевая капля начинает катиться к кончику листа сирени. Этот вздрог покинутого листа, лишившегося своего сверкающего бремени, наверное, причинил отцу острую боль, и мне не хочется задерживаться воображением на том дне, когда в парижской гостинице за четырехлетним Севастьяном рассеянно присматривала недоумевающая няня, а отец заперся у себя в комнате, «в том особенном гостиничном номере, который так прекрасно подходит для постановки самых плохих трагедий: мертвые бронзовые часы (нафабранные усы двух часов без десяти минут) под стеклянным колпаком на зловещем камине, венецианское окно, и муха, без толку мечущаяся меж

кисеи и стеклом, образчик гостиничной писчей бумаги на выдавшем виды бюваре». Это из «Альбиноса в черном», фабула которого не имеет никакого отношения к этому именно несчастью, но в котором сохранилось дальнейшее воспоминание о детской тревоге на унылом отельном ковре, когда тебе нечего делать и время до странного раздается вширь, сбивается с пути, заваливается...

Война на Дальнем Востоке доставила отцу возможность той счастливой деятельности, которая помогла ему если не забыть Виргинию, то по крайней мере вернуть жизни смысл. Его напористый эгоизм был всего лишь формой мужественной энергии и оттого вполне соответствовал его щедрой по своей сути натуре. Должно быть, он считал постоянное уныние, не говоря уже о самоуничтожении, недостойным занятием, позорной капитуляцией. Когда в 1905 году он опять женился, ему, наверное, приятно было сознавать, что из поединка с судьбой он вышел победителем.

Виргиния объявилась снова в 1908 году. Она была неисправимой путешественницей, вечно в разъездах, и жила как у себя дома и в маленьком пансионе, и в дорогой гостинице, так что понятие дома у нее означало уют постоянных перемен. От нее Севастьян перенял эту странную, чуть ли не романтическую любовь к спальным вагонам и Большим Европейским Экспрессам, к «поскрипыванью обшитых полированным деревом стен, ночью, под синим ковром; к протяжному вздоху тормазов на едва угадываемых станциях; к скользящей вверх кожаной с тиснением шторке, открывающей вид на платформу, на человека, везущего чемоданы на тележке, на молочный шар газового фонаря, с мечущейся вокруг него бледной ночной бабочкой; к лязгу невидимого молотка, проверяющего колеса; к плавному троганию с места в темноту; к промелькнувшему образу одинокой женщины, перебирающей серебристые вещицы в дорожном несессере на синем бархате освещенного купэ».

Она приехала Норд-Экспрессом в зимний день, без всякого предупреждения, и послала короткую записку с просьбой о свидании с сыном. Отец охотился на медведей в деревне, поэтому матушка без дальних слов отвела Севастьяна в «Европейскую», где Виргиния остановилась всего на один вечер. Там, в холле, она и увидела первую жену своего мужа, худенькую, угловатую женщину с маленьким подвижным лицом под огромной черной шляпой. Она подняла вуальку выше губ, чтобы поцеловать мальчика, и не успела прикоснуться к нему, как расплакалась, будто теплый висок Севастьяна был вместе источником и утешением ее горя. После чего она тотчас надела перчатки и принялась рассказывать моей матери на дурном французском нелепую и никчемную историю о какой-то польке, которая пыталась украсть в вагоне-ресторане ее сумочку с косметическими принадлежностями. Потом она сунула в руку Севастьяна фунтик засахаренных фиалок, улыбнулась моей матушке нервной улыбкой и пошла за швейцаром, выносившим ее чемоданы. Тем все и кончилось, а в следующем году она умерла.

От ее двоюродного брата Г.Ф. Стайнтон узнали, что в последние месяцы жизни она изъездила всю Южную Францию, останавливаясь на день-другой в знойных захолустных городках, которые редко навещают туристы, – неприкаянная, одинокая (любовника своего она бросила) и, вероятно, очень несчастная. Можно было подумать, что она от кого-то или от чего-то бежала, ибо она возвращалась по своему же следу или запутывала следы; с другой же стороны, тем, кто знал ее нрав, это суматошное метание могло показаться чрезмерным последним проявлением свойственной ей охоты к перемене мест. Она умерла от сердечного припадка (болезнь Лемана)¹⁵ летом 1909 года, в городишке Рокбрюн. Тело не без осложнений было переправлено в Англию; родственники ее все умерли еще прежде, и только г. Стайнтон присутствовал на ее похоронах в Лондоне.

¹⁵ Так называемый синдром Лемана (Lehman) относится скорее к невропатологии, чем к кардиологии, но у Набокова в напечатанном виде этот Леман не француз, а немец (Lehmann), м.б. вымышленный (рукописи этого и следующего места, где эта болезнь упоминается в 9-й главе, не сохранилось).

Родители мои жили счастливо. Это был тихий и нежный союз, которого не могло омрачить злоречие иных наших родственников, нашептывавших, что отец, хотя и был любящим мужем, время от времени увлекался другими женщинами. Раз как-то под Рождество 1912 года одна его чрезвычайно милая подруга легкомысленно обмолвилась, когда они шли по Невскому, что жених ее сестры, некто Пальчин, знал его первую жену. Отец сказал, что помнит его, они познакомились в Биаррице не то за десять, не то за девять лет перед тем...

– Да, но он и потом с ней встречался, – сказала она. – Он признался сестре, что жил с Виргинией после того, как вы расстались... Она потом бросила его где-то в Швейцарии... Забавно, что никто об этом не догадывался.

– Что же, – спокойно сказал отец, – коли это не вышло наружу прежде, незачем болтать об этом спустя десять лет.

По весьма несчастливому стечению обстоятельств на другой же день после этого капитан Белов, близкий друг нашей семьи, между прочим спросил отца, верно ли, что его первая жена родом из Австралии, – он, т. е. капитан, всегда считал ее англичанкой. Отец отвечал, что, сколько он знает, ее родители одно время жили в Мельбурне, но что она родилась в Кенте.

– Но отчего ты спрашиваешь? – прибавил он. Капитан отвечал уклончиво, что его жена была на каком-то рауте, где кто-то что-то сказал...

– Очевидно, придется положить этому конец, – сказал отец.

Наутро он посетил Пальчина, который принял его радушнее, чем того требовали приличия. Он сказал, что прожил много лет в чужих краях и рад возобновить старые знакомства.

– В обществе распускают грязную ложь, – сказал отец, не садясь. – Полагаю, вы знаете, о чем идет речь.

– Послушайте, мой милый, – сказал Пальчин, – мне незачем притворяться, что я не вижу, куда вы клоните. Сожалею, что это сделалось предметом толков, но не станем же из-за этого горячиться... Никто ведь не виноват в том, что у нас с вами когда-то было немало общего...

– В таком случае, милостивый государь, – сказал отец, – я пришлю к вам моих секундантов.

Из рассказа матушки (приобретшего в ее изложении непосредственную живость, которую я здесь пытаюсь сохранить) мне было ясно, что Пальчин был негодяй и дурак. Но именно оттого, что Пальчин был дурак и негодяй, мне трудно понять, как мог человек таких достоинств, какими обладал мой отец, рисковать жизнью, чтобы удовлетворить – и что же? заветную честь Виргинии? свою жажду мести? Но так же как честь Виргинии была безвозвратно потеряна самим фактом ее побега, всякая мысль о мщении должна была давно утратить свою горькую усладу за годы счастливого второго брака. Но, может быть, тут важно было просто названное имя, увиденное лицо, неожиданно фарсовый отпечаток чего-то личного на призраке, бывшем прежде ручным и безликим? И в конечном счете стоил ли этот отзвук далекого прошлого (а эхо чаще всего отзывается лаем, каким бы чистым ни был голос кличущего) того несчастья, которое он принес в наш дом, и горя, которое он причинил моей матери?

Стрелялись в метель на берегу замерзшей речки. Они обменялись выстрелами, и отец упал ничком на серо-голубую армейскую шинель, разостланную на снегу. Пальчин дрожащими руками закурил папиросу. Капитан Белов подозвал кучеров, смиренно дожидавшихся в отдалении на заснеженном тракте. Все это страшное дело заняло три минуты. В «Забытых вещах» есть собственные впечатления Севастьяна о том черном январском дне. «Ни моя мачеха, – пишет он, – ни кто из домашних не знали о надвигавшемся событии. Накануне за обедом отец бросал в меня через стол хлебные катыши: я целый день дулся оттого, что доктор велел мне носить какую-то мерзкую шерстяную фуфайку, и отец пытался меня развеселить, но я нахмурился, покраснел и отвернулся. После обеда мы сидели в его кабинете; он пил свой кофе и слушал мачеху, которая говорила о вредном обычае француженки давать моему младшему свод-

ному брату конфеты в постель; я же сидел на диване в дальнем углу комнаты и листал «Чамз»¹⁶: «Ждите следующей главы этой сногшибательной истории». Шутки, напечатанные внизу больших, тонких страниц. «Почетного гостя, которому показывали школу, спрашивают: Что поразило вас сильнее всего? – Горошина, которой в меня выстрелили из трубочки». Курьерские поезда, с грохотом мчащиеся в ночной тьме. Игрок голубой крикетной команды¹⁷, который отразил нож, брошенный свирепым малайцем в его друга... *Уморительная* серия комических картинок, изображавших трех подростков, один из которых был гуттаперчевый мальчик, умевший вращать носом, другой фокусник, а третий чревовещатель... Всадник, перескакивающий через гоночный автомобиль...

На другое утро в школе я никак не мог справиться с геометрической задачкой, на гимназическом языке именуемой «пифагоровыми штанами». Утро было такое темное, что в классной зажгли свет, отчего у меня всегда начинало ужасно звенеть в голове. Я пришел домой около половины четвертого с тем ощущением нечистоты, с которым всегда возвращался из школы и которое теперь еще усугублялось колючим бельем. В передней рыдал денщик отца».

¹⁶ «Однокашники» – английский журнал для мальчиков, выходивший в 1892–1941 гг.

¹⁷ Лучшие университетские спортсмены могли одеваться в цвета своего заведения (темно-синий в Оксфорде, голубой в Кембридже).

Вторая глава

В своей кое-как состряпанной, пестрящей ошибками книжке Гудман уделяет всего несколько безтолковых фраз детским годам Севастьяна Найта, рисуя до смешного неверную картину. Одно дело служить секретарем у писателя, и совсем другое – описывать его жизнь; но когда на такое дело подвигает желание запустить свою книгу в продажу, покуда можно с выгодой поливать цветы на свежей еще могиле... нужно ли говорить, что коммерческая спешка несовместима с кропотливым, безпристрастным, благоразумным исследованием?! Я не собираюсь порочить ничьей репутации. Но не будет клеветой утверждать, что только неодолимая страсть щелкать клавишами ремингтона могла побудить г. Гудмана написать, что «мальчику навязали русское воспитание, несмотря на то что он всегда чувствовал в своих жилах мощный ток английской крови». Чуждое это влияние, продолжает Гудман, «доставляло ребенку острое страдание, и в более зрелые свои лета он с содраганием вспоминал бородачей-мужиков, иконы, бренчание балалаек – вместо здорового английского воспитания».

Едва ли есть смысл отметить, что взгляд г. Гудмана на русский быт отстоит так же далеко от истинного положения вещей, как, скажем, представление калмыка об Англии как о мрачной стране, где учителя с рыжими бакенами до смерти засекают маленьких мальчиков. Следует только подчеркнуть, что Севастьян рос в высокоинтеллектуальной среде, в которой сочетались свойственные русской семье духовные блага с первейшими сокровищами европейской культуры, и что какой бы сложностью и своеобразием ни отличалось отношение самого Севастьяна к своему русскому прошлому, оно никогда не опускалось на тот пошлый уровень, который воображает его биограф.

Помню, как Севастьян мальчиком, на шесть лет меня старше, размашисто малевал что-то акварелью в неприхотливом ореоле солидной керосиновой лампы, у которой абажур розового шолка, казалось, был выкрашен его мокрой кистью – так ярко светится он в моей памяти. Вот вижу себя четырех или пяти лет от роду – стою на носках, вытягиваюсь, повожу головой то туда, то сюда, чтобы за подвижным локтем единокровного своего брата разглядеть как следует коробку с красками; липкие красные и синие до того вылизаны и истрачены, что в их углубленицах уже виднеется эмаль. Всякий раз, что Севастьян мешает цвета на внутренней стороне железной крышки, слышится легкий перестук, а мутная вода в стакане перед ним вся в волшебных цветных разводах. Его темные, бобриком стриженные волосы позволяют видеть небольшое родимое пятно над пунцовым прозрачным ухом (я теперь залез на стул), но он по-прежнему не обращает на меня внимания, пока я рискованным и резким движением не пытаюсь умакнуть кисточку в самое синее корытце в коробке, и тогда он отпихивает меня плечом, все так же не поворачиваясь, по-прежнему ни слова не говоря и не приближаясь, как оно и всегда у него бывало в обращении со мной. Помню, как я глядел через перила, когда он шел вверх по лестнице, вернувшись из школы, в черной гимназической блузе с кожаным ремнем (о котором я втайне мечтал), медленно поднимаясь, сутулясь, таща за собою пегую сумку, перехватывая перила и то и дело перескакивая через две или три ступени. Я вытягиваю губы, выдавливаю белый плевок, который падает все ниже да ниже, но всегда мимо Севастьяна; и делаю я это вовсе не для того, чтобы ему напакостить, а просто из унылого и тщетного желания заставить его заметить мое существование. Мне тоже живо вспоминается, как он едет на велосипеде с очень низко посаженным рулем по испещренной солнечными пятнами дорожке парка в нашем имении, медленно катя, не вертя педалями, а я бегу позади, немного поддавая, когда его нога в сандалиии нажимает на педаль; я изо всех сил стараюсь не отставать от заднего колеса, издающего тикающий и шипящий звук, но он не обращает на меня внимания и скоро оставляет меня безнадежно далеко позади, едва дышащего, но все еще семенящего вослед.

Позже, когда ему было шестнадцать лет, а мне десять, он иногда помогал мне готовить уроки, объясняя так быстро и нетерпеливо, что из его помощи никогда ничего не выходило, и скоро он клал карандаш в карман и уходил из комнаты. В то время он был долговяз, с изжелта-бледным лицом и с темной тенью над губой. Его волосы теперь были разделены на блестящий пробор, и он писал стихи в черной тетради, которую запирали в ящик стола.

Однажды я обнаружил, где он прятал ключ (в щели в стене возле голландской печки в его комнате) и открыл этот ящик. Там лежала эта тетрадка, а еще фотография сестры его одноклассника, несколько золотых и кисейный мешочек с фиалковыми конфетками. Стихи были английские. Незадолго до смерти отца к нам домой приходили давать уроки английского, и, хотя я так никогда и не выучился свободно говорить на этом языке, читаю и пишу я на нем довольно легко. Смутно припоминаю, что стихи были весьма романтические – все темные розы, да звезды, да зов моря; но одна подробность совершенно ясно запала в память – под каждым стихотворением вместо подписи стоял чернилами нарисованный маленький черный шахматный конь.

Я пытался воспроизвести связный образ своего единокровного брата в мои детские годы, между, допустим, 1910 годом (когда у меня впервые пробудилось сознание) и 1919-м (когда он уехал в Англию). Но мне это не удалось. Образ Севастьяна не участвует в моем отрочестве и оттого не может подвергнуться бесконечному отбору черт в их развитии; не является он мне и в веренице знакомых зрительных впечатлений, но скорее в виде нескольких ярких пятен, как если бы он был не постоянным членом нашей семьи, а каким-то случайным гостем, проходящим через освещенную комнату и потом надолго растворяющимся в ночи. Объясняю я это не столько тем, что детские мои интересы не способствовали серьезным отношениям с не-сверстником, который был и не довольно юн, чтобы быть мне товарищем в играх, но и не настолько старше меня, чтобы быть наставником, – сколько холодностью, с которой Севастьян постоянно держал себя, и хотя я его нежно любил, но мое чувство по этой причине не находило себе ни признания, ни пищи. Я мог бы, пожалуй, описать, как он ходил, как смеялся или чихал, но это было бы все равно что взять ножницы и разрезать кинематографическую ленту на части, у которых с подлинной драмой не было бы ничего общего. А что тут была драма, в том не может быть сомнений. Севастьян не мог забыть матери того, что отец погиб из-за нее. Ее имя никогда не произносилось в нашем доме, но это только прибавляло болезненной прелести удержанному в памяти чарующему образу, владевшему его впечатлительной душой. Не знаю, мог ли он сколько-нибудь ясно помнить то время, когда она еще была женой отца; может быть, и мог – как некое мягкое свечение на заднем плане жизни. Не могу передать и того, что он чувствовал, когда девятилетним мальчиком снова увидел свою мать. Моя же рассказывала, что был он вял, говорил крайне мало и потом уже никогда не упоминал об этой краткой, жалкой, неполноценной встрече. В «Забытых вещах» Севастьян дает понять, что было у него чувство некоторой досады оттого, что отец был счастлив во втором браке, но оно уступило место восторженному поклонению, когда он узнал о причине рокового поединка отца.

«С открытием Англии, – пишет Севастьян (“Забытые вещи”), – мои заветнейшие воспоминания зажили новой жизнью... После Кембриджа я поехал на континент и недели две тихо прожил в Монте-Карло. Там как будто есть какое-то игорное заведение – азартные игроки и проч., – но если и так, то я его не видал, потому что почти все время сочинял первую свою книгу – довольно претенциозный роман, в печатании которого мне, к счастью, отказало столько же издателей, сколько было потом читателей у следующей моей книги. Как-то раз я отправился в дальнюю прогулку и очутился в городишке под названием Рокбрюн. А мать моя умерла как раз в Рокбрюне за тринадцать лет перед тем. Я отлично помню день, когда отец сказал мне о ее смерти и назвал пансион, где она скончалась. Он назывался “Les Violettes”. Я спросил какого-то шоффера, известно ли ему такое заведение, но он не знал. Тогда я спросил фруктовщика, и тот указал мне дорогу. Я вышел наконец к розоватого цвета вилле, с характерными

для Прованса круглыми красными черепицами кровли, и обратил внимание на пучок фиалок, неумело намалеванный на воротах. Так вот он, этот дом. Я прошел через сад и поговорил с хозяйкой. Она сказала, что пансион только недавно перешел к ней от прежнего владельца и она ничего о прошлых постояльцах не знает. Я попросил позволения посидеть в саду. Какой-то старик – голый во всяком случае до пояса, сколько я мог видеть, – разглядывал меня с балкона, а больше никого вокруг не было. Я сел на голубую скамейку под гигантским эвкалиптом, у которого кора наполовину облезла, как оно, по-моему, всегда и бывает у этого дерева. Потом я попробовал увидеть розовый дом, и дерево, и весь облик этого места, каким его видела мать. Пожалел, что не знаю окна ее комнаты. Судя по названию виллы, я был уверен, что перед ее глазами была эта же самая клумба фиолетовых анютиных глазок. Мало-помалу я довел себя до такого состояния, что и розовый колер, и зеленый, казалось, на краткое мгновение замерцали и поплыли как бы в легкой дымке. В неясном, тонком очертании мать, в большой шляпе, медленно взошла по ступеням, которые словно растворялись в воде. Сильный глухой шмяк заставил меня очнуться. Из бумажного кулька, лежавшего у меня на коленях, выпал апельсин. Я подобрал его и пошел из сада. Спустя несколько месяцев мне случилось встретить кого-то из ее двоюродных. Вышло так, что за разговором я упомянул о своем посещении места, где она умерла. «Ах нет, – сказал он, – это другой Рокбрюн; тот – в Варе»».

Интересно отметить, что Гудман, приводя этот же пассаж, довольствуется следующим замечанием: «Севастьян Найт до такой степени склонен был видеть нелепую сторону вещей и до того неспособен задуматься над их серьезной сутью, что, не будучи по натуре своей человеком ни черствым, ни циническим, он здесь подвергает насмешке интимнейшие чувства, которые все остальное человечество справедливо полагает священными». Удивляться ли после этого, что сей велеречивый биограф поминутно попадает пальцем в небо.

По уже упомянутым причинам не стану и пытаться описывать детство Севастьяна в систематической последовательности, которой я держался бы, если бы Севастьян был героем вымышленного повествования, – тогда я мог бы надеяться предоставить читателю сведения как полезные, так и увлекательные, рисуя картину постепенного возрастания моего героя от младенчества до юношеских лет. Но если бы я попробовал применить этот способ к Севастьяну, то вышла бы очередная «романизованная биография» – из всех литературных жанров самый жалкий. Поэтому пусть дверь останется затворенной, но чтобы под нею была еще тонкая, туго натянутая полоска света; и пусть потухнет и эта лампа – в соседней комнате, где Севастьян лег спать; пусть чудесный, оливкового цвета дом на набережной Невы постепенно погасает в сизеющей морозной ночи, где снежные хлопья мешкают в своем тихостном падении, оказавшись в лунно-белом ореоле высокого уличного фонаря, и порошок могучие конечности двух брадатых атлантов, подпирающих эркер комнаты отца. Отец мой умер, Севастьян спит, во всяком случае, затих, как мышь, в смежной комнате, а у меня сна ни в одном глазу, и вот лежу, уставясь в темноту.

Лет двадцать спустя я предпринял путешествие в Лозанну, с тем чтобы разыскать старую швейцарку, бывшую сначала Севастьяновой гувернанткой, а потом моей. Ей, я думаю, было около пятидесяти, когда она от нас уехала в 1914 году; переписка наша скоро прекратилась, и я отнюдь не был уверен, что застаю ее в живых в 1936-м. Однако же застал. Оказалось, что старушки швейцарки, бывшие до революции в гувернантках в России, образовали некое сообщество. Они «жили прошлым», как объяснил мне один любезнейший господин, указавший мне, как их найти: проводили закатные годы (а большинство из них были дряхлы и дышали на ладан), сопоставляя воспоминания, вздоря между собой из-за пустяков и браня положение дел в Швейцарии, которую открыли для себя, прожив столько лет в России. Беда их заключалась в том, что все те годы, что они провели в чужой стране, они никоим образом не поддавались ее влиянию (вплоть до того даже, что не могли выучить простейших русских слов) и оставались несколько враждебно настроены к своему окружению, – как часто Маде-

муазель в моем присутствии сокрушалась по поводу своего изгнания, жаловалась на то, что ее унижают и не понимают, и мечтала о возвращении в свое прекрасное отечество; но когда эти несчастные скиталицы вернулись домой, оказалось, что страна переменялась и они там совершенно чужие и что причудливым образом Россия (которая на самом деле была для них неведомой пропастью, отдаленный рокот которой доносился из-за освещенного электрическим светом угла душевой каморки с семейными фотографиями в перламутровых рамках и с акварелью Шильонского замка), неизвестная ими Россия, теперь сделалась для них потерянным раем, местом необъятным, непонятным, но, оглядываясь назад, приветливым, населенным людьми задумчивыми, мечтательными. Мадемуазель почти совсем оглохла и поседела, но была разговорчива по-прежнему, и после первых же восторженных объятий она принялась рассказывать мне мелкие эпизоды из моей жизни, подавая их или в безнадежно искаженном виде, или настолько чуждыми моей памяти, что я должен был усомниться в их подлинности. О смерти матушки она не знала; не знала и того, что Севастьян умер за три месяца перед тем. Да и то, что он был великий писатель, ей тоже было неизвестно. Она прослезилась, и слезы ее были вполне искренни, но ей как будто было немного досадно, что я не плакал с ней вместе. «Ты всегда так владел собой», – сказала она. Я ей сказал, что пишу книгу о Севастьяне, и попросил рассказать о его детстве. Она пришла к нам в дом вскоре после того, как отец женился во второй раз, но прошлое так смешалось и сместилось в ее сознании, что она говорила о первой жене отца («*cette horrible Anglaise*»¹⁸), как если бы знала ее так же хорошо, как и мою мать («*cette femme admirable*»¹⁹). «Бедняжка Севастьян, – причитала она, – такой всегда ласковый со мной, такой благородный. Ах, как, помнится, он обнимал меня ручонками за шею и говорил – всех ненавижу, а вас люблю, Зель, вы одна понимаете мою душу. А один раз я слегка шлепнула его по руке – *une toute petite tape*²⁰, – за то, что он был неучтив с твоей матерью, – и это выражение его глаз – мне хотелось плакать, – и голос, которым он сказал: “Благодарю вас, Зель. Этого никогда не случится впредь...”»

Она довольно долго говорила все в том же роде, и мне было ужасно не по себе. Наконец после нескольких бесплодных попыток мне удалось переменить тему – я к тому времени уже порядочно охрип, потому что она запропастила куда-то свою слуховую трубку. Тогда она заговорила о соседке, толстой старушонке еще старше ее, которая встретила меня в коридоре. «Эта особа глуха как тетерев, – жаловалась она, – и страшная лгунья. Я знаю наверное, что она только давала уроки детям княгини Демидовой, а сама никогда у них не жила». «Напиши же эту свою книгу, эту дивную книгу, – восклицала она, когда я собрался уходить, – сделай ее волшебной сказкой, а Севастьян пусть будет принц. Зачарованный принц... Сколько раз я ему говорила, смотри, Севастьян, будь осторожен, женщины будут от тебя без ума. А он только смеялся в ответ: Ну так что же, я тоже буду от них без ума...»

Меня передернуло. Она звучно расцеловала меня, потрепала по руке и опять всплакнула. Я взглянул на ее затуманенные старые глаза, на мертвенный блеск вставных зубов, на такую памятную мне гранатовую брошь на груди... Мы простились. Шел сильный дождь, и я раскаивался и бранил себя за то, что прервал писание второй главы ради этого бесполезного посещения. Особенно мне было досадно, что она так ни разу и не спросила меня о дальнейшей жизни Севастьяна. Она ни разу не спросила меня, как он умер, ни единого разу.

¹⁸ Этой ужасной англичанке.

¹⁹ Эту чудесную женщину.

²⁰ Легоньким шлепком.

Третья глава

В ноябре 1918 года моя мать решила бежать с Севастьяном и со мной из России, сделавшейся опасной для жизни. Революция была в полном разгаре, границы закрыты. Она нашла человека, сделавшего профессию из тайного провоза беженцев через границу, и они условились, что за известную сумму, половина которой была заплачена вперед, он доставит нас в Финляндию. Нам полагалось выйти из поезда перед самой границей, на станции, до которой мы могли еще доехать законным порядком, а потом перейти на ту сторону скрытыми тропами – скрытыми вдвое и втрое против обычного, оттого что в безмолвном этом краю выпало много снега. В самом начале путешествия, при посадке на поезд, нам с матушкой пришлось дожидаться Севастьяна, который волок наш багаж из дома на вокзал и которому самоотверженно помогал капитан Белов. Поезд уходил в 8.40 утра. Половина девятого, а Севастьяна нет как нет. Наш провожатый уже сидел в поезде и преспокойно читал газету; он предупредил мать, чтобы она ни при каких обстоятельствах не заговаривала с ним на людях, а между тем время шло, и поезд вот-вот должен был тронуться, и нас начала охватывать паника, соединенная с оцепенением, как бывает в жутких снах. Мы знали, что человек этот, по обычаю своей профессии, ни за что не возьмется затевать дело заново, раз оно не задалось с самого начала. Знали мы и то, что не сможем еще раз собрать средства, нужные для побега. Проходили минуты, и я почувствовал, что у меня ёкает где-то в подвздошь. Совершенно невыносимо было допустить, что вот через одну или две минуты поезд уйдет и придется возвращаться к себе на темный, холодный чердак (наш дом уже несколько месяцев как отобрали в пользу властей). По дороге на вокзал мы обогнали Севастьяна с Беловым; они толкали по хрустящему снегу тяжело нагруженную тачку. Теперь эта картина стоит у меня перед глазами без движения (мне было тринадцать лет, и воображение у меня было богатое), точно заколдованная, навеки застывшая. Матушка ходила взад и вперед, засунув руки в рукава (у нее выбилась из-под шали седая прядка), пытаясь поймать взгляд нашего провожатого всякий раз, что проходила мимо его окна.

Восемь сорок пять, восемь пятьдесят... Поезд задерживался отправлением, но вот наконец раздался свисток, шлейф теплого белого дыма тенью пробежал по бурому снегу на платформе, и в этот самый миг объявился Севастьян, и на бегу уши его меховой шапки хлопали от ветра. Мы втроем вскарабкались в уже тронувшийся поезд. Только спустя некоторое время, когда он пришел в себя, он рассказал нам, что капитана Белова арестовали прямо на улице, когда они шли мимо дома, где он прежде жил, и, бросив багаж на произвол судьбы, он, Севастьян, отчаянно помчался на вокзал. Через несколько месяцев мы узнали, что нашего бедного друга расстреляли с группой из двадцати примерно человек, и он стоял плечом к плечу с Пальчиным, как и Белов, безстрашно встретившим смерть.

В «Сомнительном асфоделе», последней своей книге, напечатанной в 1935 году²¹, Севастьян выводит один эпизодический персонаж, который только что бежал из неназванной бедствующей страны, где царил террор. «Что мне сказать вам, господа, о своем прошлом (говорит он); я родился в краю, где идея свободы, понятие права, привычка доброго отношения к человеку подвергались холодному презрению и жестоко преследовались. По ходу истории те или другие правители иногда лицемерно выкрашивали стены общегосударственной тюрьмы в более благопристойный охряной оттенок и громко провозглашали дарование прав, которые в более счастливых странах разумеются сами собой; но то ли правами этими могли пользоваться одни тюремщики, то ли в них заключался какой-то скрытый порок, делавший их горше декретов самой неприкрытой деспотии... В том краю всякий, кто не был тираном, был рабом; а так

²¹ В печатных изданиях по ошибке стоит «1936» – оттого, наверное, что в ранних вариантах Севастьян умирал в 1937 году. В предпоследней главе год исправлен на 1935-й.

как душа и все, что к ней относится, за человеком отрицались, то применение физической боли считалось достаточным для управления и руководства человеческой природой... Время от времени происходили события, именуемые революцией, которые превращали рабов в тиранов, а тех – в рабов... Мрачная страна, господа, страшная, и если я в чем в сей жизни убежден, так это в том, что никогда не променяю свободу своего изгнания на злую пародию родины...»

Из того, что в речи этого персонажа имеется мимолетное упоминание «глухих лесов и заснеженных равнин», г. Гудман поспешил заключить, что все это место в книге отражает собственное отношение Севастьяна Найта к России. Это нелепейшее заблуждение; всякому непредубежденному читателю должно быть как день ясно, что приведенные слова относятся скорее к фантастическому сплаву всякого рода деспотических злодеяний, нежели к какому-то определенному народу или конкретной исторической действительности. И если я привожу их в этом месте своего повествования, где речь идет о побеге Севастьяна из охваченной революцией России, то это оттого, что мне хочется сразу вслед за ним процитировать несколько фраз из наиболее автобиографического его сочинения: «Мне всегда казалось, пишет он (“Забытые вещи”), что тоска изгнанника по родной земле есть одно из самых чистых переживаний. Мне бы хотелось показать, как он напрягает до предела память, постоянно пытаюсь не дать потускнеть и угаснуть образам своего прошлого: памятным синим косогорам и радостным большакам, живой изгороди с пробившейся без разрешения розой, полю и зайцам, далекой колокольне и ближним колокольчикам... Но оттого, что эту тему уже обработали художники посильнее моего, и оттого еще, что мне свойственно недоверие к тому, что мне легко удастся выразить, сентиментальному страннику никогда не позволено будет присесть на камень моей негостеприимной прозы»²².

Несмотря на эти последние слова, совершенно ясно, что только тот, кто знает, *что* значит покинуть родную тебе землю, может быть в такой степени подвержен желанию воспроизвести в картинах свою тоску по родине. Не могу поверить, что Севастьян не испытывал того же самого щемящего чувства, что и все мы, – какой бы отвратительной ни выглядела Россия ко времени нашего побега. В конце концов, это был его дом, и тот круг доброжелательных, благонамеренных, порядочных людей, убитых или изгнанных за то только преступление, что существуют, был и его круг. И я убежден, что ни мрачные юношеские колебания и раздумья, ни романтическое (и, позволю себе заметить, несколько искусственное) увлечение родиной его матери не могли отменить настоящей его привязанности к стране, где он родился и вырос.

Безшумно перекатившись в Финляндию, мы какое-то время жили в Гельсингфорсе. Потом наши пути разошлись. Матушка по совету одного старого друга повезла меня в Париж, где я должен был продолжать свое образование. Севастьян же отправился в Лондон и Кембридж. Его мать оставила ему порядочное состояние, и поэтому среди осаждавших его в дальнейшей жизни забот не было по крайней мере денежных. Перед самым его отъездом мы по русскому обычаю присели втроем и с минуту помолчали. Помню, что матушка держала руки на коленях и теребила обручальное кольцо отца (как она часто делала, когда руки не были ничем заняты), которое носила на том же пальце, что и свое; оно было ей велико, и она черной ниткой привязала его к своему. Помню и позу Севастьяна: на нем был темно-синий костюм, и он сидел положив ногу на ногу, причем носок верхней слегка покачивался. Я встал первым, потом он, потом мать. Он загодя уговорил нас не провожать его на пароход, поэтому мы простились там же, в комнате с побеленными стенами. Матушка быстро и мелко перекрестила его

²² Синие косогоры и радостные большаки взяты дословно из известной книги стихов («Шропширский паренек», 1896) Альфреда Гаусмана, кембриджского филолога и поэта; изгородь с неразрешенной розой – из стихотворения Руперта Брука «Старое подворье в Гранчестере» (1912); а далекая колокольня (вернее, шпиль) – из оды Томаса Грея «На зрелище Итонского колледжа из отдаления» (1742). Эти выписки из английских «художников посильнее» автора находятся, как кажется – может быть, на первый только взгляд, – в комическом противоречии с пониманием этого места повествователем в нижеследующем пассаже.

наклоненную голову, и через минуту мы уже смотрели в окно, как он садится в таксомотор со своим баулом, в последнем, согбенном телоположении всех уезжающих.

Писал он нам не очень часто, и письма его бывали не слишком длинны. За три своих кембриджских года он приезжал к нам в Париж всего два раза, лучше же сказать, полтора, потому что во второй раз он приехал на похороны матушки²³. Мы с ней довольно часто о нем говорили, особенно в последние ее годы, когда она вполне сознавала, что скоро умрет. Она-то мне и рассказала о странном приключении Севастьяна в 1917 году, о котором я ничего не знал, потому что был в это время в Крыму на вакациях. Оказывается, Севастьян подружился с поэтом-футуристом Алексеем Паном и его женой Ларисой, четой престранной; они нанимали дачу по соседству с нашим лужским имением. Он был шумный, коренастый, малорослый человек, с проблесками настоящего дарования под неряшливой невнятицей его стихов. Но вследствие того, что он изо всех сил старался эпатировать чудовищным обилием бессмысленных слов (это он придумал «заумное мычанье», как оно у него называлось), почти все его писания кажутся теперь до того никчемны, до того фальшивы и старомодны (ведь все сверхновое обладает удивительным свойством устаревать быстрее всего), что о его действительных достижениях помнят только некоторые филологи, восхищающиеся его превосходными переводами английской поэзии, которыми он занимался в самом начале своего литературного поприща; одно по крайней мере из этих русских переложений, а именно «*La belle Dame sans merci*» Китса, – настоящее чудо словесного превращения.

И вот как-то летним утром семнадцатилетний Севастьян исчез, оставив матушке короткую записку, в которой извещал, что едет с Паном и его женой в путешествие на Восток. Сначала она приняла это за шутку (Севастьян, несмотря на всю свою сумрачность, время от времени придумывал дикие розыгрыши – раз как-то, например, в переполненном трамвае попросил кондуктора передать сидевшей в другом конце барышне записку такого содержания: «Я всего-навсего бедный кондуктор, но я люблю вас»); но, отправившись к Панам, она обнаружила, что они и впрямь уехали. Несколько позднее выяснилось, что Пан представлял себе их маркополое путешествие как постепенное передвижение в восточном направлении от одного захолустного городишки до следующего, везде устраивая «лирические сюрпризы», то есть арендуя зал (или сарай, если зала не оказывалось в наличии) и учиня там поэтическое представление, доход от которого должен был обеспечить ему, его жене и Севастьяну переезд в другой город. Осталось неразъясненным, в чем состояло назначение, роль или помощь Севастьяна – или, может быть, ему полагалось просто быть под боком, приносить что нужно, или ублажать Ларису, у которой был неуравновешенный нрав и ее нелегко бывало утихомирить. Алексей Пан обыкновенно выходил на сцену в визитке, вполне корректной, если не обращать внимания на гигантские лотосы, которыми она была разубрана. На плечи у него краской было нарисовано созвездие (Большого Пса). Стихи он декламировал гулким, раскатистым голосом, а поскольку голос этот исходил из человека очень маленького, то невольно приходила на ум мысль, порождающая горы. Рядом с ним на возвышении сидела Лариса, крупная, лошадиного вида женщина в лиловом платье, и пришивала пуговицы или ставила заплатки на старые мужнины штаны, чего она дома не делала никогда, – в чем и была пуанта. Время от времени Пан в паузе между двумя стихотворениями пускался в медленный пляс, представлявший собою нечто среднее между яванскими кистевыми движениями и собственными его ритмическими изобретениями. После концертов он неистово напивался, и это в конце концов его и подкосило. Путешествие на Восток закончилось в Симбирске, где вдребезги пьяный Алексей сидел в грязных номерах без гроша, а взбалмошная Лариса оказалась в полицейском участке за то, что дала пощечину какому-то непрошеному чину, который не одобрял шумного гения ее мужа. Севастьян вернулся домой так же, как и уехал, – как ни в чем не бывало. «Другой на его месте, –

²³ Это «полтора» восстановлено по рукописи романа.

примолвила матушка, – выглядел бы смущенным и стыдился бы этой глупой истории – как оно и следовало, но Севастьян говорил о своей поездке как о каком-то забавном происшествии, которого он был только безстрастный наблюдатель». Для чего он пристал к этому балагану и что на самом деле побудило его сойтись с этой нелепой парой, было полнейшей загадкой (матушка предположила, что Лариса, может быть, его увлекла, но женщина эта была весьма недалекая, уже немолодая и до безумия влюбленная в своего сумасброда мужа). Вскоре они совершенно выпали из жизни Севастьяна. Через два-три года Пан недолго был в моде в большевицких кругах, благодаря, я полагаю, тому странному взгляду (который родился из смешения понятий), что между крайностями в искусстве и политике существует естественная связь. Затем, году в 22-м или 23-м, Алексей Пан покончил с собой при помощи пары подтяжек.

«Я всегда чувствовала, – говорила матушка, – что, в сущности, не знаю Севастьяна. Я знала, что у него хорошие баллы, что он поглощает невероятное количество книг, что у него привычки порядочного человека – он неуклонно брал холодную ванну каждое утро, несмотря на свои слабые легкие, – все это и многое другое я знала, но сам он как-то ускользал от меня. А теперь, когда он живет в чужой стране и пишет нам по-английски, мне невольно приходит на ум, что он навсегда останется загадкой, – хотя одному Богу известно, как я старалась быть с мальчиком ласковой».

Когда Севастьян приехал к нам в Париж по окончании первого курса в университете, меня поразил его иностранный вид. Под твидовым пиджаком на нем был канареечной желтизны джемпер; он носил мешковатые фланелевые панталоны и толстые носки, не ведавшие подвязок и оттого приспущенные на щиколках. Галстук у него был в яркую полоску, и по какой-то неизвестной причине он засовывал носовой платок в рукав. Он курил трубку на улице и выбивал ее об каблук. У него завелась манера стоять спиной к камину, глубоко засунув руки в карманы штанов. По-русски он говорил как будто с опаской, переходя на английский, как только разговор выходил за пределы двух фраз. Он пробыл у нас ровно неделю.

В следующий раз он приехал, когда матушки уже не было в живых. После похорон мы с ним долго сидели. Он неловко потрепал меня по плечу, когда мой взгляд случайно упал на ее очки, одиноко лежавшие на полке, и я не мог удержать приступа слез, хоть перед тем мне это удавалось. Он был очень ласков и заботлив, но как бы на отдалении, словно его мысли все время витали не здесь, а где-то в другом месте. Мы поговорили о практических вещах, и он предложил мне поехать на Ривьеру, потом в Англию; я только что кончил гимназию. Я сказал, что предпочитаю обретаться в Париже, где у меня были друзья. Он не настаивал. Коснулись мы и денежного вопроса, и он бросил как-то невзначай, как это ему было свойственно, что всегда может доставить мне столько денег, сколько мне понадобится (кажется, вместо «денег» он сказал *«деньжурь»*, хотя твердо я этого не помню). На другой день он уехал на юг Франции. Утром того дня мы вышли прогуляться, и, по обыкновению, я чувствовал какую-то непонятную неловкость наедине с ним, постоянно ловя себя на том, что мучительно ищу тему для разговора. Он тоже молчал. Перед тем как проститься, он сказал: «Ну вот. Если тебе нужно будет что-нибудь, пиши на мой лондонский адрес. Надеюсь, твоя Сор-бонна²⁴ окажется не хуже моего Кембриджа. Да, кстати, – попытайся найти какой-нибудь предмет по душе и углубись в него, покуда он тебе не надоест». В его карих глазах мелькнула легкая улыбка. «Счастливо, – сказал он, – до скорого», – и пожал мне руку вялым, неуверенным пожатием, усвоенным в Англии. Вдруг, совершенно безо всякого к тому повода, мне стало его ужасно жалко и захотелось сказать что-нибудь настоящее, окрыленное, чудесное, но нужные птицы сели на плечо и на голову только позже, когда я остался один и слов мне уже не нужно было.

²⁴ Он произнес это слово на английский манер, отчего оно звучит как «зашибленная кость».

Четвертая глава

Я начал писать эту книгу через два месяца по смерти Севастьяна. Отлично знаю, как бы раздражила его моя сентиментальность, но все же не могу не сказать, что моя всегдашняя сердечная привязанность к нему, которая так или иначе всегда попиралась и отвергалась, возобновилась теперь вспышкой такой эмоциональной силы, что все мои прочие занятия обратились в мелькающие силуэты. В продолжение наших редких встреч мы никогда не говорили о литературе, и теперь, когда возможность какого бы то ни было общения между нами была отменена странным обычаем людей умирать, я горько сокрушался, что никогда не говорил Севастьяну, как я люблю его книги. Вместо того я задаюсь безнадежным вопросом, догадывался ли он, что я вообще их читал.

Но что на самом деле я знал о Севастьяне? Я мог бы посвятить главу-другую описанию того немногого, что я помнил о его детстве и юности, – но дальше-то что? Обдумывая план книги, я ясно увидел, что мне придется предпринять фундаментальное исследование для того, чтобы восстановить его жизнь по частям и спаять эти обрывки, полагаясь на свое глубинное знание его характера. Глубинное?

Да, что-то, а это знание у меня имелось, я это чувствовал каждым своим нервом. И чем больше я размышлял об этом, тем лучше понимал, что в распоряжении у меня есть еще один инструмент: когда я представлял себе его поступки, о которых узнал только после его смерти, я знал несомненно, что в таком-то и таком-то случае я поступил бы точно так же.

Мне как-то случилось наблюдать теннисную игру двух братьев, первоклассных игроков; удары их были совершенно различны, и один был куда как сильнее другого; но в том, как они носились по всей площадке, сказывался тот же самый ритм движений, и если бы возможно было его вычертить, то получилось бы два одинаковых рисунка. Дерзну сказать, что у нас с Севастьяном тоже была некая общность ритма, чем, возможно, объясняется загадочное ощущение, что это все уже было однажды, которое овладевает мной, когда я следую за изгибами его жизни. И если, как оно часто случалось, вопросительные знаки его поведения стояли на месте неизвестных величин²⁵, я часто обнаруживаю их значение в неосознанном повороте той или другой фразы, мною записанной.

Из этого не следует, что у нас с ним было общее богатство ума или те же грани дарования. Вовсе нет. Его гений всегда казался мне чудом, не имевшим никакого отношения к тому, что оба мы пережили в сходных обстоятельствах нашего детства. Пусть я видел и запомнил то же, что видел и помнил он; а все же разница между его изобразительной силой и моей, как между бехштайновским роялем и погремушкой. Я ни за что не дал бы ему прочесть ни одного предложения из этой книги, зная наперед, как бы он поморщился при виде моего жалкого английского языка. А поморщился бы он непременно. Я и представить себе не могу, что бы он сказал, узнав, что, прежде чем взяться за его жизнеописание, его сводный брат (литературный опыт коего был тогда ограничен одним-двумя случайными переводами на английский по заказу автомобильной фирмы) решил пройти курс для «начинающих авторов», бодренькую рекламу которого нашел в английском журнале. Да, сознаюсь – и даже не жалею о том. Человек, взявшийся за умеренную плату сделать из меня преуспевающего писателя, положил немало трудов, чтобы обучить меня слогу жеманному и изящному, убедительному и отчетливо-ясному, и если я оказался учеником безнадежным (он, впрочем, был слишком благодушен, чтобы такое допустить), то это оттого лишь, что с самого начала я подпал под гипноти-

²⁵ Здесь игра слов, которой я не могу по-русски передать дословно: по-английски название третьей от конца буквы алфавита звучит как английское вопрошание («почему?»), следующая же буква, «икс», означает, разумеется, неизвестное в уравнении, т. е. «когда *игреки* – *вопросы* превратятся в *иксы* – *неизвестные*».

ческое действие до совершенства великолепного рассказа, который он мне послал как образец того, что его ученики могут сочинять и продавать издателям. Там имелись, среди прочего, один хитрый китаец с оскалом, смелая девушка с карими глазами и немногословный верзила, у которого белели костяшки пальцев, когда ему кто-нибудь слишком уж досаждал. Я бы и вовсе не упоминал этого престранного эпизода, но он доказывает, до какой степени я был не готов к исполнению своей задачи и до каких диких крайностей доводила меня неуверенность в себе. Когда же наконец я взялся за перо, я приготовился встретить неизбежность лицом к лицу, — иными словами, я был готов попытаться сделать, что могу.

В этой истории сокрыт и другой маленький урок. Если Севастьян смеха ради решился бы пройти такой заочный курс — просто чтобы посмотреть, что из этого может выйти (он вообще любил такого рода развлечения), то он оказался бы еще гораздо менее способным учеником, чем я. Ему предложили бы писать, как подобает «всякому порядочному писателю», и он стал бы писать, как не пишет никто. Я даже подражать его манере не могу, потому что стиль его прозы был стилем его мышления — вереницей ослепительных пробелов; пробел же воспроизвести трудно, ибо поневоле станешь его чем-нибудь заполнять — и тем самым сведешь на нет. Но когда в книгах Севастьяна мне попадаетея какая-нибудь подробность настроения или впечатления, заставляющая меня живо припомнить, скажем, игру света в известном месте, которую мы оба неведомо друг для друга заметили, тогда я чувствую, что, хотя и не могу дотянуться и до носка его таланта, у нас с ним имелось некое психологическое сродство, которое будет мне пособием.

Инструмент у меня, стало быть, имелся, и нужно было употребить его в дело. По кончине Севастьяна мне нужно было первым делом разобрать то, что после него осталось. Он все завещал мне, и у меня было его письмо, в котором он распорядился сжечь некоторые свои бумаги, причем в выражениях до того неясных, что я сначала решил, будто речь идет о черновиках, набросках или отвергнутых манускриптах, но скоро обнаружил, что за вычетом нескольких страниц, заложенных среди разных бумаг, он сам давно их уничтожил, так как принадлежал к тому редко встречающемуся разряду писателей, которые знают, что ничего, кроме окончательного произведения, т. е. напечатанной книги, не должно оставаться; что книга как таковая не может сосуществовать со своим призраком в виде неотделанного манускрипта, у которого все его недостатки выставлены на обозрение, вроде мстительного привидения с собственной головою под мышкой; и что по этой причине никогда нельзя сохранять сора в мастерской, даже если он обладает сентиментальной или коммерческой ценностью.

Когда я в первый раз в жизни попал в маленькую лондонскую квартиру Севастьяна, в доме номер 36 на Дубово-Парковой, у меня было сосущее чувство, что я все откладывал да откладывал нужное дело, и вот опоздал. Три комнаты, холодный камин, тишина. В последние годы он там редко бывал, да и умер он в другом месте. В шкапу висело пять или шесть костюмов, по большей части старых, и на мгновение меня посетило странное ощущение, будто Севастьяново тело размножено в жестких формах с квадратными плечами. Вот в этом коричневом сюртуке я видел его как-то раз; я дотронулся до рукава, но он только неотзывчиво подался на этот слабый оклик памяти. Были тут и башмаки, исходившие много верст и теперь достигшие конца своих странствий. Навзничь лежали сложенные рубашки. Что могли эти безмолвные вещи поведать мне о Севастьяне? Кровать. Над ней небольшая старая картина маслом, с легкой трещиной (разбухшая от воды дорога, радуга, красивые лужи). Первое, что видел по пробуждении.

Я осматривался, и казалось, что вещи в этой спальне прыжком занимают свои места в последнюю секунду, словно застигнутые врасплох, и теперь одна за другой смотрят на меня ответным взглядом, пытаясь угадать, заметил ли я, как они проштрафились. Особенно старалось низкое кресло в белом чехле возле постели; что оно там припрятало, подумал я. Обшарив промежины его неподатливых складок, я обнаружил нечто твердое на ощупь; это оказался

американский орех; и кресло тотчас опять сложило руки и приняло непроницаемое выражение (которое можно было понять как высокомерное презрение).

Ванная. Стеклянная полка, голая, если не считать пустой жестянки из-под талька, на которой между плечами были нарисованы фиалки; она как цветная реклама одиноко отражалась в зеркале.

Потом я обследовал две главные комнаты. Столовая была до странного обезличена, как и все места, где люди едят, – может быть, это оттого, что пища – первейшее звено, связующее нас с всеобщим хаосом вращающейся вокруг материи. Правда, в стеклянной пепельнице торчал папиросный окурочек, но его оставил некий г. Макматик, агент по продаже недвижимости.

Кабинет. Отсюда виден был не то садик во дворе, не то парк, гаснущее небо, два-три ильма – дубов же, обещанных уличным названием, не было. В одном конце комнаты широкий кожаный диван. Густонаселенные книжные полки. Письменный стол. На нем почти ничего: красный карандаш, коробочка со скрепками; он выглядел насупившимся и отрешенным, но лампа на западном его краю была чудесная. Я нащупал ее пульс, и опаловый шар оттаял и засветился: волшебная эта луна следила за движением белой руки Севастьяна. Теперь наконец пришла пора взяться за дело. Я достал завещанный мне ключ и отпер ящики.

Прежде всего я вытащил две пачки писем, на которых Севастьян написал «уничтожить». Одна была сложена так, что я ничего не мог разобрать – писчая бумага была бледно-голубого оттенка с темно-синей каймой. В другом пакете было много осмущенной бумаги, исписанных вдоль и поперек уверенной женской рукой. Я догадался, чья это была рука. Один безумный миг я боролся с искушением поближе познакомиться с содержимым обеих пачек. Порядочность, к сожалению, одержала верх. Но когда я сжигал их на каминной решетке, один из голубых листов отделился, корчась в мучительном пламени, и, пока на него не напоззла истребительная чернота, несколько слов ярко осветилось, но затем они увяли и все было кончено.

Я опустил в кресло и задумался. Слова были написаны по-русски, отрывок русской фразы; сами по себе они ничего не значили, – да я и не ожидал, что случайный язычок пламени выдаст хитроумный замысел сочинителя. «...твоя манера всегда находить...» Меня не смысл этих слов поразил, а именно то, что они были на родном моем языке. Я не имел ни малейшего понятия, кто была эта русская дама, чьи письма Севастьян хранил в близком соседстве с письмами Клэр Бишоп, и это меня как-то смущало и беспокоило. Со своего кресла около камина, теперь опять черного и холодного, я мог видеть ясный свет настольной лампы, яркую белизну бумаги, переливавшуюся через край открытого ящика стола, и один лист, выпавший из дести на покрытый синим ковром пол, наполовину в тени, наискось отрезанный границей света. На мгновение я как будто увидел за столом прозрачного Севастьяна; или, вернее, подумал о случае в Рокбрюне, оказавшемся не тем Рокбрюном, – как знать, может быть, он предпочитал писать в постели.

Спустя некоторое время я снова принялся за дело, исследуя и на скорую руку сортируя содержимое ящиков стола. Писем оказалось много. Я их отложил в сторону, чтобы просмотреть в другой раз. В лубочного вида альбоме с невозможной бабочкой на обложке хранились газетные вырезки. Среди них не было ни единой рецензии его книг – Севастьян слишком был тщеславен, чтобы собирать их, а когда они ему попадались, чувство юмора не позволяло ему терпеливо вклеивать их в альбом. И тем не менее этот альбом существовал, только вырезки в нем описывали (как я потом убедился, прочитав их на досуге) разные невероятные или нелепые, как во сне, случаи, произошедшие в самых что ни на есть заурядных обстоятельствах и условиях. Заметил я и то, что он оказывал благосклонное внимание разномастной метафорической помеси, по-видимому относя ее к тому же разряду легкого ночного кошмара.

Между юридическими документами я обнаружил клочок бумаги с началом рассказа; там было только одно предложение, которое обрывалось на полуслове, но оно дало мне возмож-

ность увидеть своеобразный прием Севастьяна в процессе сочинения не зачеркивать слов, замененных другими, и поэтому фраза, на которую я наткнулся, имела следующий вид:

«Из-за того, что он с трудом С трудом просыпаясь, Роджер Роджерсон старик Роджерсон купил старый Роджерс купил, так боялся Как человек с трудом просыпающийся, старик Роджерс так боялся проспать завтрашний день. Он с трудом просыпался. Он до смерти боялся проспать завтрашнее событие чудо ранний поезд чудо, что взял да и купил и принес домой купил вечером и принес домой не один будильник а восемь разной величины и с разной силой тикавших девять восемь одиннадцать будильников разной величины тикавших которые будильников как у кошки девять которые он расставил которые превратили его спальню в нечто вроде...»

Жалко, что на этом месте обрывалось.

Иностранные монеты в коробке из-под шоколада: франки, марки, шиллинги, кроны – и соответствующая им медь. Несколько вечных перьев. Необделанный восточный аметист. Аптечная резинка. Пузырек с пилюлями от головной боли, от нервов, от невралгии, бессонницы, дурных снов, зубной боли. Этот последний посул казался сомнительным. Старая (1926 года) записная книжка с мертвыми телефонными номерами. Фотографические карточки.

Я думал, что увижу множество женских, обыкновенного рода – улыбающихся на солнце летних портретов, с европейской игрой светотени, улыбающихся в белом платье на троттуаре, на песке, на снегу, – но я ошибся. На каждой из двух десятков фотографий, которые я вытряхнул из большого конверта с лаконичной надписью сверху рукой Севастьяна «Г-н N.», была одна и та же личность в разные периоды жизни: сначала сорванец с лунообразным лицом в грубо сшитой матроске, потом невзрачного вида паренек в крикетном картузе, потом курносый юноша и так далее, вплоть до целой серии карточек взрослого господина N. довольно отталкивающего бульдожьего вида, делавшегося все толще и толще на фоне фотографических задников и настоящих палисадников. Я узнал, на какую роль он предназначался, из газетной вырезки, прикрепленной к одной из фотографий:

«Автор, пишущий вымышленную биографию, желает приобрести фотографии мужчины энергической и простой наружности, положительного поведения, трезвенника, предпочтительно холостого. Куплю фотографии детские, отроческие и в зрелом возрасте для помещения в вышесказанном сочинении».

Этой книги Севастьян так и не написал, но, возможно, собирался писать ее в последний год жизни, потому что на последней фотографии, где г-н N. сияет рядом с новым автомобилем, значится «март 1935», а Севастьян умер после этого через год.

Внезапно я почувствовал усталость и уныние. Мне нужно было увидеть лицо его русской корреспондентки. Мне нужны были снимки самого Севастьяна. Мне много чего нужно было... Потом, окинув взглядом комнату, я заметил в тусклой тени над книжными полками две фотографии в рамках.

Я поднялся и стал их рассматривать. Одна была увеличенным снимком какого-то по пояс обнаженного китайца, которому со всего маху отрубили голову; другая представляла собой банальный фотоэтюд: кудрявый малыш играет со щенком. Такое соседство показалось мне сомнительным с точки зрения вкуса, но, уж наверное, у Севастьяна были свои резоны держать их и повесить так, а не иначе.

Взглянул я и на книги; их было много, растрепанных и разношерстных. Впрочем, одна полка была опрятнее остальных, и здесь я заметил вот какую последовательность, из которой складывалась, как мне мимолетом померещилось, некая до странного знакомая музыкальная фраза: «Гамлет», «Смерть Артура»²⁶, «Мост Сент-Луис Рей»²⁷, «Доктор Джекиль и

²⁶ Томаса Мэлори (1470).

²⁷ Книга Торнтон Вайльдера (Wilder, 1927): история незнакомых друг другу людей, оказавшихся на рухнувшем мосту в Перу.

мистер Гайд»²⁸, «Южный ветер»²⁹, «Дама с собачкой», «Госпожа Бовари», «Человек-невидимка»³⁰, «Восстановленное время»³¹, Англо-персидский словарь, «Сочинитель *Трикси*»³², «Аня в Стране Чудес»³³, «Улисс»³⁴, «Как покупать лошадь»³⁵, «Король Лир»...

Мелодия коротко вздохнула и затихла. Я вернулся к столу и принялся разбирать отложенные письма. По большей части это была деловая переписка, и я полагал себя вправе просмотреть ее. Некоторые письма не имели отношения к роду занятий Севастьяна, другие же имели. Тут царил беспорядок, и многие намеки были мне непонятны. В нескольких случаях он хранил копии своих писем, так что передо мной был, например, весь без изъятия, длинный, колоритный диалог между ним и его издателем по поводу одной книги. Затем какая-то назойливая личность из Румынии запрашивала о правах на издание... Узнал я о количестве проданных книг в Англии и на подвластных ей территориях... Цифры были не блестящие, хотя в одном по крайней мере случае весьма удовлетворительные. Несколько писем было от пишущей братии. Некий писатель, автор одной-единственной известной книги, мягко пенял Севастьяну (от 4 апреля 1928 года) за то, что у него слишком много «Конрада», и советовал ему в будущих книгах радикально изъять его из «конокрада», а остальное беречь «как зеницу», — что мне показалось довольно глупо.

Наконец, в самом низу пачки, я нашел матушкины и свои письма вместе с несколькими от его товарища по университету; и, преодолевая некоторое сопротивление листков (старые письма очень не любят, чтобы их разворачивали), я вдруг понял, куда, на какое отъездное поле, лежал теперь мой путь.

²⁸ Роберта Луиса Стивенсона (1886), о раздвоении человека.

²⁹ Роман Нормана Дугласа (Douglas, 1917).

³⁰ Герберта Уэльса (1897).

³¹ Последняя книга романа Пруста о потерянном времени.

³² Комический роман Вильяма Кейна (Caine, 1924).

³³ Знаменитая книга Луиса Карроля (в переводе Набокова).

³⁴ Роман об июньском дне 1904 года Джеймса Джойса (1922).

³⁵ Юмористические очерки Фрэнсиса Бэрнанда (Burnand, 1875).

Пятая глава

Нельзя сказать, что студенческие годы были для Севастьяна Найта счастливым временем. Да, многое из того, что он увидел в Кембридже, пришлось ему по душе, – и сначала он был под сильным обаянием вида, запахов, ощущения страны, к которой его всегда тянуло. В Троицкий колледж со станции он приехал во всамделишном ландо (с извозчиком позади седока): казалось, двуколка эта только его и дожидалась, изо всех сил стараясь дотянуть до этого самого часа, а после с радостью вымерла, как до нее вымерли ба́чки и непарный червонец³⁶. Уличная слякоть, мокро блестящая в туманных потемках, и ее предвкушаемый контрапункт – чашка горячего чаю и жаркий камин – образовывали гармоническое сочетание, которое он неведомо как знал на память.

Чистые голоса башенных курантов, то зависавшие над городом, то набегавшие друг на друга и отдававшиеся далеким эхом, каким-то причудливым, до глубины души знакомым образом сливались с визгливыми выкриками мальчишек-газетчиков. А когда он вступил в торжественную сень Большого Двора³⁷, где в тумане проходили тени, облаченные в черные академические плащи, а впереди покачивался котелок швейцара, Севастьян почувствовал, что узнает всякое свое ощущение: рьяный запах сырого дерна, старинную звонкость каменных плит под каблуком, размытые очертания темных стен над головой – ну, словом, все. Это особенное восторженное настроение длилось, наверное, довольно долго, но к нему примешивалось нечто иное, что позднее и возобладавало. Себе наперекор Севастьян понял – быть может, не без невольного изумления (потому что ждал от Англии больше, чем она могла ему дать), – что, как бы мудро и приятно его новое окружение ни подыгрывало его давнишним мечтаниям, сам он, или, лучше сказать, самое драгоценное в нем, останется в том же безнадежном одиночестве, что и всегда. Одиночество было ключевой тональностью жизни Севастьяна, и чем усердней судьба старалась поуютнее устроить его быт, превосходно подделывая для него вещи, казавшиеся ему нужными, тем более он убеждался в своей неспособности вписаться в картину, все равно какую. Когда он наконец вполне сознал это и начал культивировать суровую самозамкнутость, как если бы она была редким даром или страстью, тогда только Севастьян стал извлекать из ее обильного, мощного произрастания удовольствие, не затрудняясь больше своей неловкостью и необщительностью, – но это пришло много позже.

В начале он, по-видимому, панически боялся сделать не то, что нужно, или, еще того хуже, допустить какую-нибудь неловкость. Кто-то сказал ему, что следует надломить или даже совсем вытащить твердую квадратную распорку из шапки с кисточкой, чтобы оставалось только безформенное черное сукно. Сделав это, он немедленно обнаружил, что совершил грубейший ляпсус всех новичков и что безукоризненный вкус предписывает пренебречь и шапкой, и плащом, отнеся их тем самым к безупречному разряду вещей несущественных, которые в противном случае могли бы посягнуть на некую значительность. Опять-таки зонтики и шляпы возбранялись независимо от погоды, и Севастьян покорно промокал и простужался, покуда в один прекрасный день не познакомился с Д.В. Горжетом, милейшим, ветреным, ленивым, легким человеком, знаменитым своим бретерством, изяществом и остроумием: и вот Горжет преспокойно ходил в котелке и с зонтиком. Когда я приехал в Кембридж пятнадцатью годами позже и лучший университетский товарищ Севастьяна (ныне известный филолог) все это мне поведал, я заметил ему, что все как будто ходят с – «Точно так, сказал он, Горжетов зонтик расплодился».

³⁶ Бабочка медного цвета из семейства голубянок (*Lycaena dispar*), которая водилась в кембриджской округе, но совершенно перевелась в Англии к середине XIX века.

³⁷ Огромный, покрытый стриженной травой прямоугольный двор, на который выходят здания Троицкого колледжа.

– Расскажите, – попросил я, – о спорте, об играх. Хорошо ли Севастьян играл?
Собеседник мой улыбнулся.

– Боюсь, – отвечал он, – что, если не считать непритязательных матчей на размокшем зеленом теннисном корте, где на самых голых проплешинах росло по ромашке, мы с Севастьяном недалеко ушли в спорте. У него была, помнится, замечательно дорогая ракетка и очень ему шедшие фланелевые штаны – и вообще он выглядел очень опрятно и хорошо и так далее; но сервировал он слабо, по-женски, метался туда-сюда, то и дело промахивался, да и я был немногим лучше его, и игра наша сводилась к подборанию мокрых, позеленевших мячей или бросанию их игрокам на соседних площадках, и все это под непрерывно морозящим дождем. Словом, в играх он определенно не блистал.

– Что ж, разве это его не огорчало?

– Пожалуй что и огорчало. Первый его семестр был, можно сказать, отравлен сознанием, что в этом отношении он отстает. Когда он познакомился с Горжетом (у меня на квартире), бедный Севастьян до того разошелся на теннисные темы, что Горжет наконец осведомился, употребляются ли в этой игре клюшки. Это несколько утешило его – он решил, что Горжет, который ему сразу понравился, тоже плохой спортсмен.

– В самом деле?

– Как вам сказать... в рагби у него было голубое отличие...³⁸ но тенниса он может быть и не любил. Как бы там ни было, Севастьян скоро преодолел этот комплекс спорта. И вообще говоря —

Мы сидели в едва освещенной, обшитой дубом комнате, в креслах до того низких, что можно было, опустив руку, взять поднос с чайными принадлежностями, смиренно стоявший на покрытом ковром полу, и дрожащие блики огня, отражавшиеся в медных шарах очага, создавали ощущение, что дух Севастьяна витает над нами. Мой собеседник знал его так коротко, что, надо думать, он не ошибался, предположив, что в усилиях Севастьяна переангличаниить самих англичан коренилось чувство какой-то неполноценности, и хотя это ему никак не давалось, он упорствовал, покуда наконец не пришел к выводу, что его подводят не все эти внешние вещи, не ухищрения новомодного жаргона, но самое его стремление быть и вести себя как все прочие, между тем как он был счастливо обречен на одиночное заключение в себе самом.

Тем не менее он спервоначалу из всех сил старался быть студентом как все. В коричневом халате и в старых шаркунах на босу ногу, с мыльницей и губкой в клеенчатом мешке, он каждое зимнее утро шествовал в ванное заведение за углом. К утреннему чаю он приходил в столовую и ел овсяную кашу того же понурого серого цвета, что и небо над Большим Двором, с померанцевым вареньем того же точно оттенка, что плющ на его стенах. Он садился на свой «педальон», как выразился источник моих сведений, и, перекинув плащ через плечо, катил от одного лекционного корпуса до другого. Завтракал он у Питта (что-то вроде клуба, как я понял, где по стенам были, наверное, развешаны картины с лошадьми и очень старые лакеи задавали свою вечную загадку: «Вам густого или жидкого?»). Он играл в фэйвс (уж не знаю, что это за игра такая) или в другую какую-нибудь нешумную игру, а потом пил чай с двумя-тремя приятелями; разговор ковылял между горячей вафлей и трубкой, тщательно обходя все, что еще не было сказано другими. До обеда оставалось одна или две лекции, а потом опять университетская столовая, весьма импозантное заведение, которое было мне любезно показано. Там шла уборка, и толстые белые икры Генриха Восьмого просились, чтобы их пощекотали³⁹.

– Где же он сидел?

– Вон там, у стены.

³⁸ Привилегия лучших спортсменов носить на шапке или на шарфе цвета Кембриджского университета (или даже голубую куртку – см. 27-ю главу «Подвига»).

³⁹ В огромной трапезной Троицкого колледжа висит старая (XVI века) копия Гольбейнова портрета Генриха VIII (он учредил этот колледж в Кембридже).

– Как же он туда пробирался? Столы-то вон какие – чуть не с версту.

– А он вставал на скамью и шагал по всему столу. Иногда по пути ступал в тарелку, но таков уж был обычай.

После обеда он возвращался к себе или отправлялся с каким-нибудь молчаливым спутником в маленький кинематограф на рыночной площади, где показывали фильму о Диком Западе или о том, как Чарли Чаплин улепetyвает от громадного злодея, семена на поворотах как на льду.

Так он провел три или четыре семестра, а потом с ним произошла интересная перемена. Ему вдруг разонравилось то самое, что, по его мнению, должно было ему нравиться, и он тихо обратился к настоящему своему делу. Внешне эта перемена выразилась в том, что он выпал из распорядка университетского быта. Он больше ни с кем не видался, кроме моего осведомителя, остававшегося в его жизни единственным, может быть, человеком, с кем он держался откровенно и просто, – их связывала искренняя дружба, и я понимал Севастьяна вполне: скромный этот профессор произвел на меня впечатление человека чрезвычайно приятного и самого порядочного. Оба они увлекались английской литературой, и Севастьянов друг уже тогда задумал свой первый опус, «Законы литературного воображения», за который спустя два или три года удостоился Монтгомеровской премии.

– Признаюсь, – сказал он, глядя пушистую голубоватую кошку с серо-зелеными глазами, неизвестно откуда взявшуюся, а теперь удобно устроившуюся у него на коленях, – признаюсь, на этой стадии нашей дружбы Севастьян вызывал у меня тревогу. Когда его не было на лекции, я, бывало, заходил к нему и заставлял еще в постели, где он лежал, свернувшись калачиком, как спящее дитя, но при этом угрюмо курил, и смятая подушка была обсыпана пеплом, а простыня, которая свисала до пола, была вся в кляксах. В ответ на мое бодрое приветствие он что-то бурчал и не соизволил даже переменить положения; я, бывало, постою-постою, чтобы убедиться, что он не болен, да и уйду завтракать, а после прихожу опять – а он только перевернулся на другой бок и приспособил туфлю под пепельницу. Предложу принести ему что-нибудь из съестного – у него никогда ничего в буфете не водилось – и потом приду со связкой бананов, и он вдруг начинает шалить как обезьянка и принимается поддразнивать меня какими-нибудь невразумительными безнравственными сентенциями о жизни, о смерти, о Боге, что он особенно любил делать, потому что знал, что мне это неприятно, хотя я никогда не думал, что он это всерьез. Наконец около трех или четырех часов пополудни он надевал халат и шаркал в гостиную, садился, поджав ноги, у камина и почесывал голову, а я в негодовании удалялся. А на другой день я мог заниматься у себя в берлоге, и вдруг на лестнице слышался громкий топот и в комнату вваливался Севастьян – чистый, свежий, взволнованный, с только что конченным стихотворением.

Все это как будто на него весьма похоже, а одна мелкая подробность представляется мне особенно трогательной. Оказалось, что хотя Севастьян совершенно свободно и естественно изъяснялся по-английски, тем не менее его речь неоспоримо выдавала в нем иностранца. Его «р» в начале слова было раскатисто-картавым, и он допускал курьезные ошибки – например, мог сказать, что не схватил, а «поймал» насморк, или что такой-то – «симпатический человек». В некоторых длинных словах вроде «interesting» или «laboratory» он делал ударение не там, где нужно, и неправильно произносил некоторые имена, например «Socrates» и «Desdemona»⁴⁰. Если его поправляли, он в другой раз уж ни за что не делал той же ошибки, но его донельзя расстраивало, что он не совсем уверен в произношении иных слов, и он вспыхивал до пунцовой краски, когда какой-нибудь не слишком интеллигентный собеседник недопонимал его вследствие случайной оговорки. В ту пору писал он много лучше, чем говорил, но все-таки его сти-

⁴⁰ В первом и третьем слове ударение должно быть на первом слоге, во втором и четвертом – на втором, но Севастьян произносит их, следуя русскому обычаю.

хотворения отдавали чем-то не вполне английским. Из них мне не попало ни одного. Правда, его друг полагал, что одно или два, может быть...

Он спустил кошку на пол и порылся в ящике стола, но ничего не нашел. «Может быть, где-нибудь в чемодане, у моей сестры, – сказал он неуверенно, – но точно сказать не берусь... Такие мелкие вещицы ходят в любимицах у забвения, да и потом, я знаю, что Севастьян только приветствовал бы их пропажу».

– А кстати, – сказал я, – в вашем воспроизведении прошлое выглядит удручающе мокрым, с метеорологической точки зрения, – да и нынче, впрочем, та же тоска (стоял понурый февральский день). Скажите, неужто никогда не бывало тепло и ясно? Ведь и Севастьян где-то упоминает «розовые подсвечники огромных каштанов» по берегам какой-то красивой речки?

Да, верно, и весна, и лето случались в Кембридже почти каждый год (какая-то странная приятность заключалась в этом «почти»). Да, Севастьян любил беззаботно плыть по Кеми в плоской шляпке. Но больше всего он любил в сумерках ездить на велосипеде по тропинке вдоль лугов. Там он садился на жердь и смотрел, как перистые облачка на поблекшем вечернем небе переходят от семужных тонов на тускло-медные, и думал. О чем? О той ли девушке из простых, с мягкими, все еще заплетенными в косы волосами, за которой он как-то раз шел через поле, нагнал, поцеловал и больше никогда не видел? О контуре облака? О дымчатой вечерней заре по-над черным русским бором (и чего бы я не отдал за такое его воспоминание!)? О тайном смысле травинки и звезды? о неведомом языке безмолвия? о страшной тяжести росинки? о щемящей красоте одного круглого камушка среди галечной тьмы тем, и все-то они имеют какой-то смысл, но вот какой? О старом-престаром вопросе «кто ты такой?», с которым обращаешься к самому себе, сделавшемуся в сумерках странно-уклончивым, и к Божьему миру вокруг, которому ты так и не был представлен как следует? А может быть, мы будем ближе к истине, предположив, что когда Севастьян сидел на этой жерди, в его голове толпились слова и мысли – незаконченные мысли, недостаточные слова, – но он уж знал тогда, что только это одно и было его подлинной жизнью и что его предназначенье лежало за этим призрачным полем брани, которое ему в свой срок предстояло перейти.

– Нравились ли мне его книги? О да, и еще как. Мы редко виделись после Кембриджа, и он мне никогда не присылал своих вещей. У сочинителей, как известно, память короткая. Но как-то раз я взял в библиотеке три его книги и в три же ночи прочитал их. Я и всегда был уверен, что он напишет что-нибудь замечательное, но я никак не ожидал, что это будет *настолько* замечательно. В свой последний здесь год... не понимаю, что нашло на эту кошку... она точно вдруг разучилась лакать молоко.

В свой последний год в Кембридже Севастьян много занимался; его предмет, английская литература, был обширным и сложным; но в то же самое время он повадился вдруг отлучаться в Лондон, обыкновенно не испрашивая на то позволения у университетского начальства. Его наставник, покойный г. Джефферсон, был, как я узнал позднее, довольно занудный старик, но зато отличный лингвист, который упорно считал Севастьяна русским. Другими словами, он доводил Севастьяна чуть ли не до белого каления тем, что выкладывал ему весь запас русских слов, какие знал, – а он набрал их целый короб во время посещения Москвы за много лет перед тем, – и просил научить его новым. Наконец в один прекрасный день Севастьян выпалил, что тут недоразумение – он на самом деле родился не в России, а в Софии. При этих словах старик просиял и тотчас заговорил по-болгарски. Севастьян, смешавшись, отвечал, что он говорит на другом, особенном диалекте, а когда ему было предложено сказать что-нибудь на нем, сочинил на ходу новое наречие, которое привело старого языковеда в полное замешательство, покуда до него не дошло, что Севастьян —

– Ну вот, теперь вы как будто выжали из меня все, что я знаю, – сказал мой осведомитель с улыбкой. – Мои воспоминания делаются всё тривиальнее и глупее, и не стоит, может быть, и упоминать, что Севастьян кончил курс с высшим отличием и что мы с ним снялись на память

в полном облачении, – если хотите, я постараюсь как-нибудь отыскать эту фотографию и тогда пришлю ее вам. Как, вы уже уезжаете? Не желаете ли пойти посмотреть набережные колледжи?⁴¹ Пойдемте – навестим крокусы, Севастьян их называл «грибами поэта» – вы, конечно, понимаете, что он имел в виду.

Но дождь зарядил не на шутку. Минуты две мы постояли под навесом крыльца, а потом я сказал, что мне, пожалуй, пора.

– Да, вот еще что, – крикнул мне вдогонку друг Севастьяна, когда я уже лавировал между лужами. – Совсем забыл сказать вам. Третьего дня мне ректор говорил, что ему кто-то прислал просьбу подтвердить, что Севастьян Найт действительно учился в Троицком. Постойте, как бишь его имя? Ах, вылетело... Память села от стирки. И то сказать, мы с вами выполоскали ее на славу. Как бы там ни было, кто-то, сколько я мог понять, собирает материалы для жизнеописания Севастьяна Найта. Забавно, что у вас как будто не —

– Севастьяна Найта? – послышалось вдруг из тумана. – Кто это тут поминает Севастьяна Найта?

⁴¹ Т.е. колледжи, живописно расположенные «на задах», по берегам Кеми.

Шестая глава

Произнесший эти слова незнакомец подошел ближе... ах, как мне иногда мечтается о непринужденном ходе хорошо смазанного романа! Как было бы славно, если бы голос этот принадлежал какому-нибудь старому благодущному профессору с длинными, покрытыми светлым пухом мочками ушей и с таким прищуром глаз, указывающим на мудрость и наклонность мило шутить... Удобный персонаж, желанный прохожий, тоже знававший моего героя, но только под другим углом зрения. «Ну а теперь, – сказал бы он, – я поведаю вам настоящую историю университетской жизни Севастьяна Найта».

И, не сходя с места, поведал бы ее. Но увы, ничего подобного не произошло. Этот Голос из Тумана раздался в самом тусклом закоулке моего сознания.

Он был лишь отзвуком некоей возможной истины, вовремя напомнившим: не очень-то доверяй сведениям о прошлом, услышанным из уст настоящего. Остерегайся и самого честного посредника. Помни, что добытое тобою знание – с тройным дном:

повествователем сшито, слушателем перековано и от обоих сокрыто покойным героем повести. Кто тут поминает Севастьяна Найта? – повторяет внутренний мой голос. Вот именно, кто да кто? Лучший его друг – и его брат по отцу. Скромный ученый-филолог, далекий от жизни, – и смущенный путешественник, захавший в чужие края. Ну а где же третий? Мирно гниет себе на погосте в Сен-Дамье. Восхитительно живой в пяти своих томах. Незримо теперь заглядывающий мне через плечо, когда я все это пишу (впрочем, надо думать, у него было слишком мало веры в общее место вечности, чтобы поверить даже теперь в собственного своего призрак).

Но что там ни говори, у меня на руках был трофей этой дружбы. К нему я прибавил несколько подробностей, упомянутых в коротеньких письмах Севастьяна того времени, да мимолетных описаний университетского быта, разбросанных в его книгах. Затем я возвратился в Лондон, где у меня был заранее тщательно приготовлен следующий ход.

Когда мы с Севастьяном виделись в последний раз, он между прочим упомянул какого-то своего секретаря, что ли, услугами которого время от времени пользовался между 1930-м и 1934 годами. Подобно многим писателям прошлого и в отличие от большинства нынешних (впрочем, не исключено, что те из них, кто не умеет устраивать свои дела и не обладает «пробивной способностью», просто остаются в неизвестности), Севастьян был до нелепости безпомощен в деловых вопросах и, найдя себе однажды советчика, предавался ему всецело и с величайшим облегчением, даже если тот оказывался мошенником, или дураком, или тем и другим вместе. Если бы я как-нибудь спросил его, не кажется ли ему, что такой-то его помощник – просто навязчивый старый плут, то он тотчас перевел бы разговор на другую тему, до того он боялся, что, обнаружив злоупотребление, вынужден будет расстаться со своей ленью и что-то предпринять. Словом, он предпочитал скорее иметь негодного помощника, чем вовсе никого, и мог убедить себя и других, что совершенно доволен своим выбором. Несмотря на все сказанное, я должен подчеркнуть со всей доступной мне определенностью, что с юридической точки зрения мои слова никоим образом не содержат наветного обвинения и что имя, которое я сейчас назову, в предыдущем пассаже не упоминается.

Так вот, от г. Гудмана мне нужно было не столько получить сведения о последних годах Севастьяна – этого мне покуда не требовалось, так как я намеревался следовать за ним по жизни этап за этапом, отнюдь не забегая вперед, – сколько просто справиться, с кем мне следует повидаться из тех, кто мог знать что-нибудь о жизни Севастьяна после Кембриджа.

Итак, 1 марта 1936 года я посетил г. Гудмана в его конторе на Флит-стрит. Но прежде чем приступить к описанию нашей беседы, позволю себе небольшое отступление.

Среди писем Севастьяна я набрел на вышепомянутую переписку с издателем касательно одного его романа. Из нее мне стало ясно, что некий второстепенный персонаж его первой книги, «Грань призмы» (1925), представляет собой очень смешную и беспощадную пародию одного ныне здравствующего писателя, которого Севастьян счел нужным таким образом про-брать. Издатель, конечно, тотчас догадался, о ком речь, и, будучи в затруднении, советовал Севастьяну переписать все это место, от чего Севастьян отказался наотрез, сказав наконец, что напечатает книгу в другом издательстве, — что он впоследствии и сделал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.